

Прощание с иллюзиями

Автор:

[Владимир Познер](#)

Прощание с иллюзиями

Владимир Владимирович Познер

Книгу «Прощание с иллюзиями» Владимир Познер написал двадцать один год тому назад. Написал по-английски. В США она двенадцать недель держалась в списке бестселлеров газеты New York Times. Познер полагал, что сразу переведет свою книгу на русский, но, как он говорил: «Уж слишком трудно она далась мне, чуть подожду». Ждал восемнадцать лет – перевод был завершён в 2008 году. Ещё три года он размышлял над тем, как в рукописи эти прошедшие годы отразить. И только теперь, по мнению автора, пришло время издать русский вариант книги «Прощание с иллюзиями».

Владимир Познер

Прощание с иллюзиями

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ РОДИТЕЛЯМ

GERALDINE LUTTEN

ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПОЗНЕРУ

Как на проводе пичужка,

Как в полуночном хоре пьянчужка

На свой лад быть свободным хотел.

Леонард Коэн

По крайней мере я попытался.

Рендал Патрик МакМэрфи в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»

Вместо предисловия

19 ноября 2008 г.

Кажется, это было в 1987 или 1988 году. Я тогда познакомился с Брайаном Каном, сыном известного американского журналиста, писателя и общественного деятеля Альберта Кана, с которым приятельствовал мой отец, когда, живя в Америке, работал в кинокомпании MGM. Кан-старший был коммунистом, горячим сторонником СССР, и сын его, Брайан, побывал раз или два в знаменитом лагере «Артек». Во времена маккартизма его отца занесли в черные списки и лишили работы. Взгляды и опыт отца не могли не повлиять на формирование Брайана, который хоть и не стал коммунистом, но придерживался левых либеральных взглядов. Время от времени он приезжал в страну, поначалу представлявшуюся ему мечтой человечества, но и потом, когда его постигло разочарование (замечу в скобках, это случилось со множеством подобных людей, уверовавших в свое время в Советский Союз), он не терял с ней связи.

Если мне не изменяет память, наше с ним знакомство произошло благодаря его приезду на Московский международный кинофестиваль, куда он привез свой документальный фильм о советско-американском сотрудничестве по спасению, кажется, сибирского журавля. Словом, мы встретились, стали общаться, и в какой-то момент Брайан сказал, что мне следует написать книжку о своей жизни. Я ответил, что мне некогда, и он предложил приходить ко мне домой

каждый день часа на два-три, задавать мне вопросы, записывать ответы на диктофон, затем расшифровать и разбить все это на главы. Я согласился, но с условием, что стану говорить только о политической стороне моей жизни, а не о личной. На том и договорились. Записав кассет сорок, Брайан уехал к себе в Монтану, откуда через два или три месяца прислал распределенный по главам текст. Я по нему слегка прошелся, сообщил Брайану, что тот может искать издателя, и забыл думать об этом.

Прошло еще месяца три, прежде чем Брайан позвонил:

– Владимир, я показал эту рукопись одному замечательному редактору, приятелю моего отца, и он сказал, что хотя это очень интересно, ни один издатель не захочет опубликовать ее в таком виде – без какой-либо информации о тебе, о твоей личной жизни, понимаешь?

– Ладно, Брайан, я подумаю, – ответил я ему.

И приступил к написанию книжки заново, выбросив все, что мне прислал Брайан. Писал я года два, как помнится, после чего отправил рукопись знакомому американскому литературному агенту Фреду Хиллу. Прочитав книжку, Фред позвонил мне, сказал, что она понравилась ему и что он свяжется со мной, когда найдет издателя.

Спустя два месяца он сообщил:

– Владимир, я сделал нечто такое, что литературные агенты редко делают, – я послал твою рукопись сразу семи самым крупным издательствам Америки.

– И что?

– А то, что все семь ответили отказом – некоторые сразу, некоторые потом, но отказались.

Помню, как при его словах я испытал одновременно два чувства: разочарование и облегчение.

– Значит, это конец?

– Нет, это значит, что твоя книжка станет бестселлером.

– ?

– Да-да, наберись терпения.

Я не знал что и подумать, но вскоре Фред позвонил с радостной новостью: издательство The Atlantic Monthly Press купило права на публикацию моей книжки и готово выплатить мне сто тысяч долларов. Сумма меня потрясла. Моим редактором должна была стать некая Энн Годофф (замечу в скобках, что это издательство хотя и не числится среди крупнейших, имеет очень высокую репутацию в литературных кругах – я это знал; чего я не знал, так это того, что Годофф считалась – да и считается – одним из самых знающих и сильных литературных редакторов США. Ныне она возглавляет издательство Penguin Books).

Книжка вышла в 1990 году и – к изумлению всех, кроме Фреда Хилла, – вскоре попала в престижнейший список бестселлеров газеты The New York Times; продержалась она там в течение двенадцати недель.

Как вы, возможно, догадались, я написал эту книгу по-английски. Я рассудил так: поскольку моя сознательная жизнь началась с английским языком, я и напишу книжку на нем, а потом сам переведу ее на русский.

Книга, однако, далась мне с огромным трудом, со страданиями. Она меня совершенно измотала, и наконец закончив ее, я и подумать не мог о том, чтобы взяться за русскоязычный вариант. «Подожду немного, отдохну, – говорил я себе, – и затем примусь за перевод». Мысль о переводе меня никогда не оставляла. Многие советовали мне отдать ее на сторону, но это было невозможно: слишком личное, я бы даже сказал, интимное содержание не позволяло мне доверить ее кому бы то ни было. Шли годы. Несколько раз я брался переводить и каждый раз бросал, так по существу и не начав. Прошло восемнадцать лет, и вот наконец я книжку перевел. Дав ей отлежаться некоторое время, я с чувством выполненного долга стал читать русский вариант... и ужаснулся: я понял, что в таком виде она выйти не может. Столько всего произошло в моей жизни за эти восемнадцать лет, столько изменилось в моих взглядах, столько из того, что казалось мне верным тогда, сегодня верным не кажется... Как быть? Можно было, конечно, «осовременить» текст, так

сказать, подправить его, и тогда мой читатель поразился бы тому, что я еще восемнадцать лет назад был необычайно прозорлив...

Я решил оставить книжку такой, какой она была. Но при этом снабдить каждую главу своего рода комментариями к написанному, комментариями, отражающими мои сегодняшние взгляды, – эдаким хождением взад-вперед во времени.

Что получилось и получилось ли – не знаю. Но этого не знает никто из тех, кто пытается свои мысли выразить словами и положить их на бумагу.

Глава 1. Моя Америка

Я совершенно ясно помню один день из детства. На чердаке загородного дома друзей моей матери я играл – тянул за веревку деревянную лодку. Собственно, я хотел отвязать лодку, но узел не поддавался, хоть я и старался развязать его изо всех сил. Мне скоро стало ясно, что во всем виновата лодка. Шваркнув ее об пол, я стал пинать ее. Я был вне себя от гнева. Тут появилась мама.

– Почему бы тебе не пойти вниз? – предложила она. – Там есть один господин, который очень хорошо развязывает узлы. Я спустился и увидел мужчину, сидевшего на диване. Быть может, мне изменяет память, но я и сейчас вижу его глаза: желтовато-зеленоватые, чуть насмешливо на меня смотрящие. Правда, меня это нимало не заботило. Я подошел к нему, поздоровался и попросил помочь мне развязать узел. Он сказал:

– Что ж, попробую, – взял кораблик и стал возиться с веревкой. Я наблюдал за ним крайне внимательно, и почему-то сильное впечатление произвело на меня небольшое вздутие, которое я заметил на безымянном пальце его левой руки. Он легко расправился с узлом, отчего я почувствовал себя неумехой, и отдал мне кораблик. Я поблагодарил его. А мама сказала:

– Это твой папа. Он приехал в Америку, чтобы увести нас назад во Францию. Мне было пять лет.

Не помню, чтобы эта встреча тогда произвела на меня впечатление. Не помню также, чтобы я особенно скучал по отсутствовавшему отцу в течение первых пяти лет своей жизни. Раньше у меня не было папы, а теперь он появился, вот и все. Двигаясь по туннелю времени к тому далекому дню, я не ощущаю волнения: ни мороза по коже, ни холодка в животе – нет ничего, говорящего о том, что память задела и разбудила какое-то спящее чувство.

Мне 5 лет. Детский сад в Париже

И все же, этот день был для меня судьбоносным. Не приехал бы за нами папа – и моя жизнь пошла бы по совершенно другому руслу.

* * *

Моя мать, Жеральдин Нибуайе Дюбуа Люттен, была француженкой. Она, ее брат и три сестры родились в благородной семье, предка которой сам Наполеон наградил баронством за верную службу. Дворянский титул вскоре стал частью семейных легенд и толкований, событием громадного значения. Я проникся подлинным пониманием сего лишь в 1980 году, когда двоюродный брат моей матери пригласил меня с супругой на ужин в свой парижский дом. Мы были введены в комнату, и нам представили портрет «прапрапрадеда», а также баронскую грамоту, висевшую рядом в позолоченной раме, с такой торжественностью и благоговением, будто речь идет о Святом Граале.

Моя мать относилась к баронскому титулу с иронией и куда больше гордилась другим своим предком, первой великой суфражисткой Франции Эжени Нибуайе. Когда в 1982 году был выпущен спичечный коробок с ее изображением на этикетке, да еще с цитатой из ее работы 1882 года «Голос женщин», это вызвало у мамы настоящий восторг.

Наша семья удовлетворяла как тщеславие одних своих членов, так и общественный темперамент других и в этом смысле соответствовала самым разнообразным вкусам, но одного ей явно не хватало: денег. Именно это привело к тому, что моей бабушке, женщине поразительной красоты и великолепного

образования, не получившей от родителей в наследство ничего и дважды овдовевшей к тридцати пяти годам, пришлось в одиночку добывать хлеб насущный для себя и для пятерых своих детей. Это проявилось в самой разнообразной деятельности – от управления замком для приема богатых туристов во Франции до обучения хорошим манерам и французскому языку перуанских барчуков в Лиме. Мама на всю жизнь запомнила переход через Анды – тогда она болталась в корзине, привязанной к спине ослика, и глядела вниз в бездонные пропасти. Быть может, именно тогда, в возрасте трех или четырех лет, она обрела страх высоты, от которого не избавилась до конца жизни.

Рауль Дюбуа, скорее всего, мой дедушка

Дети, перебираясь из страны в страну, получали лишь поверхностное образование и в конце концов были размещены матерью в школы-интернаты. Моя мама попала в школу при католическом женском монастыре в городе Дамфризе в Шотландии. Завершив там учебу, она вернулась в Париж, где устроилась работать монтажером во французском филиале американской кинокомпании Paramount. Вскоре она встретила моего отца.

Эжени Нибуайе, моя бабушка со стороны мамы, и ее первый муж Эрик (?) Люттен

Сказать, что его семейные обстоятельства отличались от ее, значит не сказать ничего. По сути дела, они не сходились ни в чем. Предки отца, испанские евреи, еще в пятнадцатом веке бежали от инквизиции и остановились, лишь достигнув города Познани, где и осели – отсюда фамилия Познер. Через несколько веков, уже после того, как Польша стала частью Российской империи, один из более предприимчивых представителей рода Познеров пришел к выводу, что в централизованном государстве выгоднее всего жить в центре, то есть в Санкт-Петербурге, и отправился туда. Насколько мне известно, один из его не менее сообразительных потомков, прикинув, что в России явно лучше быть русским и православным, нежели евреем, стал выкрестом, тем самым одарив эту ветвь

клана привилегией считаться русской и, что более существенно, освободив ее от традиционной для России дискриминации евреев.

Бабушка незадолго до смерти

* * *

Может быть так, а может, и нет. Через несколько лет после выхода книги я разговаривал со старшей сестрой отца, Еленой Александровной Вильга (по мужу), которая горячо доказывала мне, что никаких выкрестов в семье не было. Лёля – так звали ее близкие – была совершеннейшей атеисткой, как и все члены семьи, но, уехав из Нью-Йорка во Флоренцию в начале шестидесятых, стала активисткой местной русской православной церкви, хотя и продолжала отрицать существование бога (пишу со строчной буквы, поскольку и я атеист). Лёля никогда не стеснялась своего еврейства (в отличие от своей младшей сестры Виктории и моего отца), но абсолютно игнорировала все правила поведения, которые должен соблюдать правоверный иудей. Когда года за два до своей смерти она тяжело заболела, ее хотели разместить в еврейской клинике (там лечат бесплатно и на высшем уровне), для чего потребовалось предъявить бумаги, подтверждающие, что она еврейка. Таковых, понятно, не было. Пришлось дать небольшую взятку одному нью-йоркскому раввину, который в письменном виде засвидетельствовал, что Лёля, живя в Нью-Йорке с 1925 по 1962 год, регулярно ходила в синагогу и соблюдала все еврейские праздники. В больницу ее взяли. Там она и умерла. Она похоронена во Флоренции на еврейском кладбище.

Моя мама еще до знакомства с моим папой. Париж

Мой прапрадед с мамимой стороны, знаменитый юрист, кавалер ордена Почетного легиона Жан Полен Нибуайе.

Шато, которое снимала моя бабушка, чтобы сдавать его богатым гостям

Виктория, она же Тото, тоже отрицала наличие выкрестов в семье. О том, что дед был выкрестом, утверждал, насколько мне помнится, его сын – мой отец. Кстати, о семье отца: его бабушка с материнской стороны родилась в Кронштадте, что опять-таки не вписывается ни в какие правила, поскольку Кронштадт являлся военно-морской базой и евреям там не было места. Впоследствии она держала фотомагазин на Невском (дом 6б), и многие фотографии из этой книги обязаны ей своим появлением.

И еще: мои две тети, Елена и Виктория Александровны, выведены в сказке Корнея Ивановича Чуковского «Крокодил» в качестве детишек Лелёши и Тотоши, так что я могу гордиться тем, что являюсь племянником двух увековеченных теток. Кто прав – не знаю, но каким образом мог мой дед Александр Познер, еврей, учиться в Питере в престижном высшем учебном заведении (Институте инженеров путей сообщения), а потом состоять на царской службе – не понимаю. К сожалению, больше не у кого спрашивать: нет уже никого, кто мог бы пролить свет на эту историю, а пока они были живы, я не очень-то интересовался. Вот как странно! Пока наши родители и близкие рядом с нами, мы мало интересуемся их жизнью, их прошлым. Видимо, нам подсознательно кажется, что они навсегда останутся подле нас. Либо в своей гордыне мы уверены, что нам и так все известно, все доступно... А потом... А потом поздно, поздно, поздно.

Мой дед, Александр Познер, со старшей дочерью Еленой, она же моя будущая тетя Лёля

* * *

Словом, мой отец рос в типично русской интеллигентской среде, в которой терпимость, открытость взглядов и жаркие споры по всякому поводу были такой же частью ежедневного «меню», как и утренняя гречневая каша. Когда Февральская революция 1917 года привела к отставке царя, а за ней последовал ноябрьский большевистский переворот, Познеры, как и большинство русских интеллектуалов, этому горячо аплодировали.

Моя прапрабабушка со стороны отца Мария Перл

Елена Александровна Познер (тетя Лёля)

Моя бабушка Елизавета Перл

Мой дед, Александр Познер. Санкт-Петербург, 1905 г.

Мой папа в матроске, с двумя сестрами, Лёлей и Тото. Санкт-Петербург, 1916 г.

Моя прапрабабушка Мария Перл, с моим отцом и двумя тетями. Женщины в заднем ряду мне неизвестны. Санкт-Петербург

Мой дед Александр с матерью. Санкт-Петербург

Мои прапрадед Виктор Иванович Перл и прапрабабушка Мария Мироновна.

Мой отец и две его сестры учились в одной из лучших гимназий столицы – Тенешевской, не подпадая под пятипроцентную «еврейскую» квоту. Точно так же, как не подпал под нее их отец, мой дед, окончивший Институт инженеров путей сообщения, одно из самых престижных высших учебных заведений страны, куда евреям путь был заказан. Позже он был направлен лично Николаем II в США с двумя заданиями: закупать оружие для России и изучать мостостроительное дело. Почему-то мне кажется, что мои предки с отцовской стороны были рады освободиться от своего еврейства. Мой отец никогда не выказывал ни малейшей причастности к еврейскому миру. Он свободно изъяснялся на нескольких языках, но не знал идиша, не говоря об иврите. Ни он, ни его сестры не проявляли интереса к еврейской истории и культуре. Познеры были атеистами (полагаю, что выкрест-родоначальник был побуждаем в своем решении помыслами не религиозного толка), что, впрочем, совершенно не мешало им праздновать Пасху – с крашением яиц и поеданием куличей домашней выпечки, равно как и Пейсах – с поглощением рыбы-фиш и прочей сугубо еврейской снеди. Эта готовность отмечать религиозные праздники по форме, но не по содержанию представляется мне вполне типичной чертой русской интеллигенции. Советские люди с энтузиазмом празднуют Пасху и по григорианскому календарю, по которому живет почти весь мир, и по юлианскому, по которому живет Русская православная церковь, не говоря о еврейском Пейсахе, и подобного я не встречал больше нигде. То же относится и к Рождеству, которое празднуется и 25 декабря, и 7 января. Понятно, что в стране атеистической эти религиозные праздники не являются официальными, но большинство выпивающих и закусывающих по этим дням тоже не сильно

верующие.

С другой стороны, Новый год считается в СССР государственным праздником и отмечается 31 декабря... что не мешает населению чествовать и старый Новый год 13 января.

* * *

С тех пор мало что изменилось в отношении готовности жителей России праздновать все что угодно, лишь бы выпить и закусить. Однако есть одно изменение весьма принципиальное: роль Русской православной церкви и место, которое ей отведено сегодня.

Еще во времена Бориса Николаевича Ельцина РПЦ стала занимать все более заметное положение, ее иерархи чаще появлялись на экранах телевизоров, глава государства и прочие высшие чиновники публично начали общаться с патриархом и чинами чуть пониже. РПЦ быстро приспособилась к новым временам, например к рыночным условиям – надо сказать, весьма диким – новой России. Она сумела добыть для себя привилегии, в частности, право торговать спиртными напитками и табачными изделиями, не платя за это налоги. Я не устаю поражаться аморальности церкви и церковников, шокирующим несоответствием между тем, что проповедуется, и тем, что делается (это относится не только к РПЦ). Горячие проповеди о вреде и греховности курения и потребления алкоголя никоим образом не воспрепятствовали бурной, чтобы не сказать лихой, торговле этим «грехом», которой активно добивались высшие иерархи РПЦ. По мне, лучше иметь дело с откровенным мерзавцем, ничего не проповедующим и ни во что не верующим, чем со святошей-лжепроповедником. По крайней мере, в первом случае знаешь, с кем имеешь дело.

Внезапное «прозрение» государственных чиновников всех разрядов, от самых высоких до вполне рядовых, их стремительное возвращение в лоно православия не просто удивляет, а вызывает чувство брезгливой неловкости. Все эти тогдашние «товарищи», которые размахивали красными партийными книжками и клялись положить жизнь на строительство коммунизма, в одночасье стали не просто господами, но еще и православными. Скорость и легкость этой метаморфозы уму непостижимы. Прав, конечно, был Наполеон, когда говорил, что от трагедии до фарса – один шаг: во главе РПЦ, облачившись в соответствующие патриарху одеяния, оказался человек, имевший тесные связи с

КГБ. Ни для кого не секрет, что в советское время иерархи назначались в Совете по делам церкви и религии при Совете Министров СССР, на самом деле являвшемся одним из многих филиалов все того же КГБ.

Помнится, во время Великой Отечественной войны Сталин, по сути, вернул РПЦ к жизни, отменив гонения на нее и на верующих. Расчет был очевиден: церковь должна сыграть роль патриотического объединителя в борьбе со смертельно опасным врагом. Думаю, что и Ельцин, и в еще большей степени Путин увидели в РПЦ единственную силу, способную сплотить раздираемое противостояниями и противоречиями российское общество. Возможно, они правы.

Но повальное «эксгибиционистское» ношение крестов, заполнение телевизионного эфира религиозной тематикой и бородатыми проповедниками, почти насильное введение предмета «Православная культура» в государственных школах вызывает у меня отвращение.

Замечу: я к религии отношусь терпимо, понимая, что это есть некая система взглядов, некое мировоззрение. На христианскую же церковь смотрю с непримиримой враждебностью. Более всего она напоминает мне ЦК КПСС с генсеком (патриархом или папой), политбюро в виде митрополитов и кардиналов, ЦК и так далее.

Я писал эту книгу в конце восьмидесятых, когда еще горела надежда перестройки, и тогда РПЦ была тише воды, ниже травы. Но по мере убывания демократии – а она, с моей точки зрения, начала убывать вскоре после закрепления власти Ельцина, – РПЦ становилась все более заметной. В принципе нет в этом ничего удивительного: трудно найти менее демократический институт, чем церковь. Я даже позволю себе сказать так: дальнейший рост влияния РПЦ будет признаком все большего сокращения демократии в России, и напротив – ограничение влияния церкви станет свидетельством роста демократии. Что и говорить, не повезло России, когда князь Владимир сделал выбор в пользу православной ветви христианства: именно она более других темна, нетерпима, замкнута, именно она активнее других доказывает человеку, что он – ничто.

Папа. Марсель, 1930(?) г.

Папе 17 лет. Берлин, 1925 г.

Любопытный факт: если взять все европейские страны и распределить их по трем ветвям христианства, которые в них доминируют, то окажется, что наиболее высокий уровень жизни, наиболее развитые демократические институты встречаются в государствах, где церковь имеет наименьшее влияние, то есть в протестантских; за ними следуют страны католические, и на последнем месте – православные. Полагаете, это случайно?

В советские времена было опасно афишировать свою религиозную веру. Сегодня в «демократической» России атеизм не приветствуется. Высшие государственные чины, начиная с президента и премьер-министра, демонстративно крестятся и целуют патриарху руку на виду у всего народа. При новом патриархе – Кирилле – РПЦ еще более агрессивна в своем стремлении «рулить» процессом образования в России, стать истиной в последней инстанции по всем вопросам, касающимся СМИ, искусства, культуры, медицины, здорового образа жизни и, когда возможно, международных отношений. Она даже пытается быть законодателем мод, поучая, в частности, женщин, как и во что они должны одеваться.

* * *

Мой отец встречал революцию десятилетним. Он навсегда запомнил те пьянящие дни с их обещаниями братства, свободы и равенства, с блоковским Христом в венчике из белых роз во главе революционного марша, с моряками-балтийцами в черных бушлатах и клешах и с лихо надвинутыми на самые брови бескозырками, с пулеметными лентами крест-накрест через грудь; моряки шли, чеканя шаг, чтобы остановить угрожавшие красному Питеру силы белого генерала Юденича. Эти «картинки» и порожденные ими идеи серьезно повлияли на моего отца, на его формирование; уверен, что отроческие впечатления

сохранились в его душе до конца жизни. Он не был сентиментальным человеком, напротив, всегда держал эмоции в узде, я лишь трижды видел его плачущим. В 1940 году, когда мы бежали из оккупированной Франции и он прощался, возможно, навсегда со своей любимой младшей сестрой; в 1968 году, когда он стал свидетелем уничтожения созданной им Экспериментальной творческой киностудии (ЭТК) – дела его жизни; и однажды, незадолго до его смерти, когда он рассказывал мне о своем детстве и о том далеком воспоминании – об отряде марширующих матросов революционного Балтфлота, певших песню с малопонятными для меня словами «наши жены – пушки заряжены».

Заметив, как слезы катятся по его щекам, я, испугавшись, спросил, что случилось, и отец ответил, что песня эта напомнила ему о детстве, о Петрограде восемнадцатого года, о русских мужиках, которые и в самом деле не знали ничего, кроме пушек, и лишь бесконечно воевали – то на фронтах Первой мировой, то на баррикадах революции, то на Гражданской войне; о мужиках, которым некогда было влюбляться, жениться, иметь детей; мужиках, которые пели эту песню с каким-то остервенелым юмором, смеясь над собой, пушкарями-ебарями, чьи дети-снаряды несут только смерть да разрушения; еще тогда, в восемнадцатом, песня эта пронзила его сердце – и рана так и не зажила.

В 1922 году семья Познеров эмигрировала из Советской России.

Знаменитая баскетбольная команда BBCR. Папа – капитан – третий слева

Первая пятерка. Папа – с мячом

Весь клуб, со вторым и юношеским составами

К этому времени Гражданская война закончилась, было ясно, что большевики пришли надолго. Стало понятно и то, что революция не явилась воплощением всех ожиданий тех, кто изначально встретил ее восторженно – в том числе моего деда. Таким образом, Познеры, как сотни и сотни тысяч других, оказались частью того эмигрантского потока, который осел в Берлине. Проведя там три года, став свидетелем размолвки родителей и отъезда отца в Литовскую Республику, в Каунас, мой отец переехал с матерью и двумя сестрами в Париж.

Там он окончил русскую среднюю школу, после чего начал работать, чтобы помочь тяжело заболевшей матери и младшей сестре – Тото (старшая, Лёля, вскоре после приезда в Париж вышла замуж за американца и уехала в США). Его ближайшие друзья были, как и он, вынужденными беженцами из России, учившимися во французско-русском лицее, который был создан специально для детей русских иммигрантов. Дружбу эту скреплял спорт, точнее, сильнейшее увлечение – баскетбол.

Вместе с несколькими выпускниками школы, отчаянными любителями этой игры, отец основал команду BBCR (Русский баскетбольный клуб). Участвуя в играх на первенство Франции, команда начала с самого низшего дивизиона и через несколько лет добралась до высшей лиги и до чемпионских титулов. Это была, скорее, не команда, а семья. Некоторые из игроков-основателей BBCR не только живы по сей день, но и, несмотря на почтенный возраст – за восемьдесят, все еще собираются по воскресеньям, чтобы побросать в кольцо; процент попадания у них поразительно высок.

* * *

Сейчас уже нет никого. Живы их дети и внуки, но ни те, ни другие не играют в «баскет» и не говорят по-русски.

* * *

Благодаря близкому другу Вове Барашу, работавшему, как и моя мать, на «Парамаунте», отец получил работу в кино – правда, на «Парамаунте» не было свободных мест, и он устроился в филиале другой американской компании, MGM. Там отец познакомился с другим эмигрантом из России, Иосифом Давидовичем

Гордоном, и очень с ним сдружился. Втроем (вместе с Барашем) они снимали квартиру, выпивали, ухаживали за девушками и вообще куролесили. В 1936 году Папашка, как прозвали Гордона, вернулся в Советский Союз. Отец встретился с ним вновь лишь спустя восемнадцать лет. Иосифу Давидовичу предстояло сыграть важнейшую роль в моей жизни...

Папа. Фото на паспорт, 1934 г.

Клер, старшая сестра Люттен Нибуайе. Она мало обращала на меня внимания. Но я обожал ее. Очевидно, за невероятную красоту

История Вовы Бараша достойна отдельного рассказа. Это был человек необыкновенно добрый и любвеобильный, с ярко выраженными данными комика. Вся округа умирала от смеха, когда он, прижав верхней губой короткую черную расческу к носу, выходил на балкончик своей квартиры и, размахивая руками, пародировал Гитлера. Бараш был доверчивым и наивным – только этим можно объяснить то, что когда в оккупированном Париже гестапо издало приказ, обязывающий всех евреев явиться для регистрации, он явился. И когда было приказано надеть нарукавник со звездой Давида, он надел его. Друзья-французы не уставали поражаться ему: «Неужели ты не понимаешь, немцы не могут жить без Ordnung [1 - Ordnung – порядок (нем.)], для них слово verboten [2 - Verboten – запрещенный (нем.)] почитаемо, правила – священные. Если ты не играешь по правилам, они беспомощны, но если принимаешь их, тебе конец».

Бараш не верил. Однажды утром к нему домой явились двое французских жандармов. Они информировали его о том, что придут забирать его во второй половине дня. «Приготовьтесь, месье», – сказали они, многозначительно глядя ему в глаза. И ушли. Бараш все понял, но все-таки отказывался верить, что речь идет о чем-то действительно серьезном, и поэтому решил спрятаться в собственном садике позади дома. К вечеру вновь явились оба жандарма, но на это раз в сопровождении немецких солдат. Они обыскали дом. Не найдя там никого, решили заглянуть в сад, где и обнаружили Бараша, пригнувшегося за

кустом сирени. Они увели его. На следующий день один из жандармов вернулся, чтобы сказать жене Бараша буквально следующее: «Мы рисковали жизнью ради твоего мудака. Если все жида такие же кретины, как он, значит, они получают по заслугам».

Эту историю мне рассказал много лет спустя отец. Она запомнилась мне навсегда.

Мама. Фото на паспорт. 1934 г.

* * *

Вова Бараш погиб в газовой камере. Вроде бы в Аушвице... Написал – и задумался: почему не упомянул об этом прежде? Может быть, то, как и где закончил свою жизнь Бараш, тогда не казалось мне столь уж важным фактом, во всяком случае, в сравнении с историей его ареста. А теперь кажется.

Тото с мамой

* * *

Отец и мать познакомились в 1930 или 1931 году благодаря общей профессии, тогда еще находившейся на ранней стадии развития и потому малочисленной: так или иначе, все были друг с другом знакомы. Я родился в Париже в 1934 году и был крещен в католической вере Владимиром Жеральдом Дмитрием Познером – в честь своего отца Владимира, матери Жеральдины и ближайшего друга отца по баскетбольным баталиям Дмитрия Волкова, согласившегося быть моим крестным. Родился я первого апреля, в день рождения матери. Было ли это

предзнаменованием особого чувства, которым мы были связаны в течение всей ее жизни, или нет – не знаю. Но то, что первые пять лет своего существования я провел без отца, конечно, оставило след на моем становлении. Как потом рассказывала мама, отец не был в восторге от перспективы моего появления, он явно еще «не догулял». Мама, женщина тихая, но необыкновенно сильная и гордая, взяла меня, тогда трехмесячного, и уплыла в США, где жили ее мать и младшая сестра Жаклин. Так я прибыл в Нью-Йорк. Странно ли, что мои первые воспоминания связаны с Америкой?

Мама. Нью-Йорк, 1936 г.

Папа. Париж, 1936 г.

* * *

Почему-то не написал, что в день моего рождения, в воскресенье первого апреля 1934 года, совпали все три Пасхи: католическая, православная и еврейская. Знак?

* * *

Мама мало запечатлелась в моей еще совсем детской памяти. Возможно потому, что я редко видел ее. Она зарабатывала на жизнь не только для нас двоих, но и для своей больной матери, смерть которой от рака была не за горами. Одну сцену, словно выжженную клеймом, мне никогда не забыть: закрываю глаза и вижу ее четче и ярче, чем на любом киноэкране. Мальчик трех или четырех лет вбегает в комнату. Время скорее всего вечернее, потому что в комнате темно, если не считать зажженного торшера около кровати, на которой полулежит подпертая подушками женщина. Она, склонив голову, читает, но когда вбегает мальчик, поднимает голову и улыбается ему. У нее тонкие, благородные черты лица. Страдальческие морщины не могут скрыть былой красоты, более того,

странным образом ее подчеркивают. Мальчик бежит к ней, он счастлив от сознания того, что ею любим, и переполнен нежностью и любовью к ней. Он бросается на постель и замирает в ужасе от дикого крика боли и от понимания, что всем телом налег на ее больную ногу. Его часто предупреждали, чтобы был осторожен, но тут в пылу радости он все забыл. Мальчик – это я, и таково единственное воспоминание, оставшееся у меня о любимой бабушке.

Что касается других воспоминаний того времени, то они обрывочны, словно разрозненные фотографии из альбома без начала и конца. Помню свою няню Эйджус; она часами не давала мне встать из-за стола, пока не съем рыбное пюре, которое я есть отказывался из-за ненавистных костей. По сей день любое рыбное блюдо вызывает во мне прежде всего чувство протеста, а затем, при наличии в нем мелких костей, отвращение. Помню я и Мэри, дочь Эйджус, которая однажды наградила меня поцелуем и конфеткой за то, что я все-таки проглотил последнюю ложку рыбного пюре и заодно, что гораздо хуже, чувство собственного достоинства.

Словно из легкого тумана выплывают контуры квартиры, где мы жили вместе с маминными друзьями – четой Уиндроу и двумя их дочерьми, Мидж и Пэт. Стеллан Уиндроу, отец семейства, запомнился мне, видимо, по совокупности причин. Он был громадного роста, разговаривал громовым голосом и обожал рассказывать анекдоты, над которыми больше всего смеялся сам. Мне было смешно только однажды, когда от хохота у Стеллана выпала вставная челюсть. У меня случилась истерика, закончившаяся тем, что Стеллан стеганул по моему задку парой подтяжек.

* * *

Уже работая в Америке, после выхода книжки, я разыскал Мидж, которую, в отличие от остальных членов ее семьи, любил. За что – не знаю. Может быть, за красоту и за то, как шикарно она плавала. Но скорее всего за то, что она никогда не шугала меня (как ее сестра), не орала (что часто делала ее мама Марджори) и не пугала (как Стеллан). Мидж приняла меня будто родного, словно не минуло почти сорок лет. Мы окунулись в воспоминания, и вдруг она сказала:

– Знаешь, мой отец писал доносы на твоего.

– ?

– Да, отец был иммигрантом из Швеции, он боготворил Америку и когда узнал, что твой папа симпатизирует русским, стал стучать на него...

Не зря я недолюбливал Стеллана.

* * *

Лучше всех я помню своего друга Стива Шнайдера, жившего этажом выше. Его спальня располагалась непосредственно над моей, и больше всего на свете нам нравилось перед сном переговариваться по воздуховоду, соединявшему все комнаты этой стороны здания. Как бы долго мы ни перешептывались, разговор всегда заканчивался одним и тем же ритуалом. Обычно начинал я: «Спокойной ночи, Стив». «Спокойной ночи, Вова», – отвечал он. И этот обмен пожеланиями продолжался долго-долго, плывя вверх-вниз по воздуховоду, пока кто-то из нас не засыпал. Каждый, понятно, стремился сказать «спокойной ночи» последним, хотя диалог иногда грубо прерывался появлением какого-нибудь взрослого, чаще всего Стеллана, требовавшего, чтобы мы немедленно умолкли.

Только ранний приход домой мамы способен был заставить меня забыть о переговорном процессе, поскольку перед сном она читала мне разные книжки. Мне было года четыре, когда мама познакомила меня с «Приключениями Тома Сойера». Я и сегодня помню, с каким восторгом представлял себе тетю Полли, которая в поисках Тома глядит поверх очков и из-под очков, но никогда не достаивает простого мальчишку взглядом сквозь очки. Не менее этой сцены я обожал другую – о коте Питере и болеутолителе и просил маму раз за разом перечитывать ее. Слушая, я помирал со смеху; Стив, прильнув ухом к решетке воздуховода, хохотал не слабее меня. У меня все еще хранится этот том – «Избранные сочинения Марка Твена», изданный в 1936 году компанией Garden City Publishing, Inc.

Мой друг Стивен Шнайдер и я. Нам по 8 лет. Штат Нью-Гемпшир

* * *

Когда я писал эту книжку, не было еще социальных сетей, в которых ныне молодежь проводит полжизни; по существу, не было и Интернета, никаких блогов, чатов и прочих прелестей, приведших к тому (и это проверено), что люди, в особенности молодые, перестали читать. «А как же электронные книги?» – возразят мне. Убедительных аргументов против них не приведу. Скажу только, что есть неуловимая разница между чтением электронной книжки и реальной, от страниц которой исходит слабый запах типографской краски, от прикосновения к бумаге которой рождается какое-то особое чувство близости... Книгу хочется подержать, погладить, понюхать, она будит наши тактильные чувства.

Скажите, дорогой читатель, вам мама и папа читали на ночь книжки? Нет? Мне жаль вас. Никакое телевидение, никакой Интернет, никакие компьютерные игры не восполнят этого пробела. Знаете почему? Да потому, что они лишают вас воображения. Они не дадут вам возможности сочинить «своего» д'Артаньяна, Тома Сойера или Конька-Горбунка, они покажут их вам во всех деталях, раз и навсегда покончив с вашими придумками. В итоге они отучат вас не только читать, но и писать, они лишат вас ощущения красоты языка, представления о стиле и знаках препинания. Знаете, когда мне читали на ночь в последний раз? Когда я болел ангиной в восемнадцать лет, и папа читал мне «Тараса Бульбу».

Мама. Нью-Йорк. 1946 г.

* * *

Летом мама отправляла меня на дачу с семейством Шнайдеров, сама же продолжала работать монтажером в Paramount. Из памяти почти стерлось загородное житье, если не считать одной драки, во время которой я получил по голове граблями (дырка была вполне внушительная), но я прекрасно помню, с каким нетерпением ждал уик-энда и приезда мамы. Суббота и воскресенье – вот чем я жил.

Моя мать была необыкновенно хорошенькой женщиной. Она не испытывала недостатка в поклонниках, но относилась к редкой породе однолюбов. Насколько мне известно, у нее никогда не было ни романа на стороне, ни даже

желания завести его. Она любила моего отца, и на этом вопрос был закрыт. Поэтому она и ждала его все пять лет жизни в Америке. По правде говоря, мне кажется, что она готова была бы ждать и двадцать пять лет. Тем временем отец, человек совершенно иного склада, вдоволь нагулявшись, пришел, по-видимому, к выводу, что никогда не полюбит другую женщину так, как любил мою мать (что, разумеется, вовсе не исключало возможности быстротечных увлечений и романов), и приехал за ней.

* * *

Впоследствии тетя Тото рассказала мне, что отец приехал за нами потому лишь, что об этом его просила незадолго до своей смерти мать, и он пообещал ей.

Не помню, писал ли я об этом прежде, но я рос практически без родственников, хотя их было немало. У матери имелись старший брат Эрик, две старшие сестры Клер и Кристиан и младшая сестра Жаклин.

Эрика я видел один раз в жизни, когда он приехал в НьюЙорк, чтобы навестить свою маму, и зашел к нам. Мне было три или четыре года, я болел коклюшем, жутко кашлял, и во время одного приступа меня вырвало – прямо на стоявшего у моей кровати Эрика. За что получил от него пощечину. Этим и ограничились мои с ним отношения. Я знаю, что он много работал в экваториальной Африке; полагаю, представлял там интересы какой-нибудь французской компании, был колонизатором, имел множество связей с местными женщинами, в результате чего родилось большое число детей – видимо, где-то там, в одной из бывших колоний, у меня есть немало чернокожих родственников. Понятия не имею, чем занимался он во время войны, уже после нее он женился и стал отцом двух вполне законорожденных девочек. Когда Эрик умер, я получил письмо от его вдовы: речь шла о разделе его имущества, к которому, по ее мнению, я должен был иметь отношение в соответствии с принятым во Франции «правом крови». Я от этого права отказался.

Мой дядя Эрик в колониальной Африке. 1932(?) г.

Он же, 1941 г.

Клер я помню очень смутно, знаю определенно, что любил ее, а за что – ума не приложу. Может быть, за небывалую красоту. Клер жгла свечу жизни с обоих концов сразу – мужчины, алкоголь, кокаин – и умерла, когда ей еще не было сорока лет.

Кристиан не пользовалась у меня никаким авторитетом. Она жила в нашем доме в Нью-Йорке со своей дочерью Андрэ (отец которой сбежал еще до ее рождения), где-то работала секретаршей, вечно боялась чего-то и дрожала над Андрэ, умело этим пользовавшейся.

Помню такой случай. Мне двенадцать лет. Мама с папой уехали во Францию. Вместо них у нас живут их приятели супруги ДиГанджи, которые присматривают за мной. Я сижу на кухне и играю ножичком. Недалеко от меня сидит Андрэ – ей лет пять. Кристиан просит меня не играть ножом около Андрэ. Я не обращаю никакого внимания. Кристиан продолжает просить. Я продолжаю играть. Выведенная из себя Кристиан дает мне пощечину. Я вскакиваю и, не соображая, что делаю, со всего маху ударяю ее под дых. Кристиан складывается пополам и стонет. Я смотрю в ужасе на то, что сотворил, и убегая из дома к семейству МакГи, жившему на соседней улице – их дети, Стив и Пит, учились со мной в одной школе. Утопая в соплях и слезах, я рассказываю их маме о своем преступлении... В общем, все уладилось, но хоть и прошло с тех пор больше шестидесяти лет, я до сих пор испытываю чувство липкого стыда, вспоминая об этом.

После войны, году в сорок шестом или сорок седьмом, Кристиан уехала во Францию и вскоре стала личным секретарем хозяина знаменитой коньячной фирмы «Hennessy». Она проработала в этом качестве больше сорока лет. Не так давно я встретился с господином Энси (так произносится эта фамилия по-французски) и сказал ему, что моя тетя была секретарем его отца.

– Как! – поразился он, – вы племянник мадам Конти? Это была великая женщина, легендарная...

Каким образом моя тихая, скромная, сверхакуратная и внешне ничем не примечательная тетя Кристиан стала «великой» и «легендарной», я не понимаю, но факт остается фактом.

Кристиан умерла в возрасте девяноста шести лет.

Мамина младшая сестра Жаклин. 1937 г.

Мне 4 года. Нью-Йорк

Мамина младшая сестра Жаклин уехала из Франции в Америку совсем молодой – ей не было и двадцати трех. Там она вышла замуж за некоего Флауэра Бийла, звукоинженера компании CBS. Они купили домик в городе Александрия, штат Вирджиния, где и прожили всю свою долгую жизнь. Жаклин родила четырех сыновей, стала стопроцентной американской домохозяйкой, чуть подзабыла родной французский и никогда больше не ездила во Францию (не говоря о других странах). Почему? Быть может, это связано с какой-то семейной тайной, с чем-то таким, что случилось с ней в период жизни во Франции? Не знаю. Но знаю точно, что в семье хранилась некая тайна, которую приоткрыла для меня незадолго до своей смерти (и намного позже выхода в свет этой книги) Кристиан.

Присмотритесь к фотографиям. Клер похожа на свою мать. Эрик и Кристиан очень похожи друг на друга (оба блондины с вьющимися волосами, голубоглазые), и Жеральдин похожа с Жаклин – обе русые с карими глазами. Жаклин, младшая из всех, носила фамилию последнего мужа моей бабушки – Дюбуа, фамилию столь же французскую, сколь фамилия Кузнецов русская. Эрик, Клер, Кристиан и моя мама носили фамилию первого мужа бабушки – Люттен. Сей господин был настоящим денди с вьющимися золотистыми волосами и голубыми, как небеса, глазами. Но как сказала мне Кристиан, он был не французом, а немцем, точнее, немецким евреем по фамилии Леви, родители которого переехали во Францию и одновременно со сменой места жительства

поменяли еврейскую фамилию на придуманную, но звучащую на французский лад, – Люттен. Итак, Клер походила на свою маму, Эрик и Кристиан – на отца по фамилии Люттен, моя мама и Жаклин были очень похожи друг на друга, но носили разные фамилии, поскольку родились от разных отцов. А если нет? Допустим, что моя бабушка забеременела четвертым ребенком (моей мамой) вовсе не от господина Люттена, а от господина Дюбуа, за которого вышла замуж лишь после рождения Жеральдин? Не надо забывать о том, что речь идет о начале XX века и о нравах в весьма буржуазно-аристократической семье, где беременеть и рожать ребенка не от законного мужа – предельно скандально.

Мама, Кристиан, Эрик и Клер. 1910 г.

Если верить Кристиан – а не верить ей у меня нет ни малейшего повода, – тайна получается двойная: в добропорядочную французскую семью проник еврей (вряд ли есть необходимость напоминать об уровне антисемитизма во Франции – и не только в начале прошлого века), да еще родился ребенок от внебрачной связи – моя мама. Вспомним при этом, что и я, ее сын, тоже рожден вне брака, и останется лишь подивиться причудливости жизни.

На скамейке справа налево: мама, Жаклин, Кристиан. Стоят: Клер и Эжени Нибуайе. 1915 г.

* * *

Мы отплыли во Францию на «Нормандии», в то время самом роскошном океанском лайнере в мире. Стив и его родители, Нина и Саул, пришли нас проводить. Они стояли на дебаркадере и махали платками нам вслед, пока мы в сопровождении целой флотилии буксиров выплывали из нью-йоркской гавани. Шла весна 1939 года.

Первого сентября Германия вторглась в Польшу. Двумя днями позже Франция и Великобритания объявили войну Германии. Началась Вторая мировая.

Воспоминаний о войне как таковой у меня почти не сохранилось. Скорее всего, это объясняется тем, что военных действий в самой Франции по сути и не было. За первые полгода ни одна из сторон не потеряла ни одного человека на всем германо-французском фронте, если не считать британского солдата, который случайно застрелился, когда чистил свою винтовку. Немцы называли эту войну Sitzkrieg[3 - Sitzkrieg – «сидячая» война (нем.)], французы – la drôle de guerre[4 - La drôle de guerre – смешная война (фр.)], англичане же со своей прямоотой обозвали ее the phoney war[5 - The phoney war – странная война (англ.)].

Я с мамой возвращаюсь во Францию на лайнере «Нормандия». 1939 г.

* * *

Как впоследствии признавал начальник Генерального штаба вермахта Гальдер – и это же подтвердил маршал Кейтель, – немцы пошли на точно рассчитанный военный риск, когда вторглись в Польшу. У Франции на германской границе было значительное превосходство в военной силе. Напади она сразу да со всей мощью, немцы вряд ли удержали бы Рурский бассейн – свою промышленную сердцевину, а без него нечего было и надеяться на военные успехи. Гитлер уже тогда потерпел бы поражение. Но объективности ради следует сказать, что и Гальдер, и Кейтель ошибались, когда говорили о военном риске. Риск был сугубо политическим и строился на точном расчете Гитлера: пока острие его удара будет направлено на Восток, Запад мало что предпримет – а скорее всего не предпримет ничего. Завершив Польскую кампанию и хорошенько подготовившись к следующей, Гитлер напал на Францию в мае 1940 года. К июню все было кончено.

* * *

Мама, папа и я на «Нормандии». 1939 г.

Как я уже говорил, я плохо помню войну. Более того, мне кажется, я даже не заметил отсутствия отца, к которому еще не успел привыкнуть. Он записался добровольцем во французскую армию, хотя мог и не делать этого, поскольку не был – и не хотел быть – гражданином Франции. Под влиянием множества факторов, в том числе ярких детских воспоминаний о революционном Петрограде, отец стал убежденным коммунистом, преданным сторонником Советского Союза. И не являясь членом компартии (причем до конца своих дней), он, несомненно, был «красным», верным последователем Маркса.

У отца был так называемый нансеновский паспорт – документ, который изобрел знаменитый норвежский полярный исследователь, ученый, государственный деятель и гуманист Фритьоф Нансен, получивший Нобелевскую премию мира 1922 года за помощь голодающей России и за участие в репатриации военнопленных. Созданный им документ должен был легализовать положение перемещенных лиц, приравнять их в правах к гражданам тех стран, в которых они оказывались. Документ этот, принятый Лигой Наций, признавался всеми цивилизованными государствами, за исключением, разумеется, нацистской Германии. С точки зрения немцев мой отец был отличным кандидатом для газовой камеры. Прежде всего он являлся евреем, и всякие рассуждения о том, что его предки – выкресты, с точки зрения нацистских идеологов не имели ни малейшего значения: ведь еврейство – это нечто генетическое, определенное состояние мозгов, несменяемое и несмываемое, как, например, черный цвет кожи у негров. Во-вторых, он был не просто евреем, а красным евреем, и нет смысла говорить о наличии или отсутствии членского билета. Главное – он коммунист в душе, а что может быть хуже? И наконец в-третьих, он – сторонник большевистской России, более того, не скрывает своих намерений вернуться туда, как только это станет возможным. К тому же сразу после демобилизации мой отец вступил в движение Сопротивления. Он торговал пирожками с мясом в немецких гарнизонах под Парижем, где благодаря отличному знанию языка подслушивал разговоры немецких солдат и офицеров и собирал таким образом сведения о количестве и качестве военных соединений, о возможных их передвижениях и т.д.

Однажды во время такой торговли пошел дождь. Схватив свой лоток с пирожками, отец встал под навесом. Вдруг рядом с ним оказался офицер в черной форме – член СС.

- Was machts du here?[6 - Was machts du here? - Что ты тут делаешь? (нем.)] - грозно спросил он.

- Nicht verstein[7 - Nicht verstein - Не понимаю (нем.)], - ответил отец.

- Raus![8 - Raus! - Пошел вон! (нем.)] - приказал эсэсовец, и отец ушел чуть ли не бегом.

Прошло несколько лет. Году в сорок седьмом отец летел из Нью-Йорка в Лондон. Рядом с ним сидел до боли знакомый человек, но кто он - отец не мог вспомнить. Тот посматривал на него с полуулыбкой, потом вдруг спросил:

- Ну что, все еще торгуете пирожками?

Это был тот эсэсовский офицер, на самом деле оказавшийся английским разведчиком. Выяснив, что мой отец - советский гражданин, он сказал:

- Знаете, нет ни одного народа в мире, который способен преодолевать трудности так, как это делаете вы, русские. Но к счастью для нас, нет ни одного народа в мире, который так умеет устраивать трудности самому себе.

Прав был английский разведчик, прав.

* * *

В последние годы я много думаю о том, каков он, русский народ. От многих я слышал, будто русские имеют немало общего с американцами - что совершенно не так. Да и откуда у них может быть что-то общее, когда их исторический опыт столь различен? Назовите мне хоть один европейский народ, который в большинстве своем оставался в рабстве до второй половины девятнадцатого века. Покажите мне народ, который почти три века находился под гнетом гораздо более отсталого завоевателя. Если уж сравнивать, то, пожалуй, наиболее похожи друг на друга русские и ирландцы - и по настроению, и по любви к алкоголю и дракам, и по литературному таланту. Но есть принципиальное различие: ирландцы любят себя, вы никогда не услышите от них высказывания вроде «как хорошо, что здесь почти нет ирландцев!».

Два или три года тому назад мне повезло попасть на выставку «Святая Русь». Оставляю в стороне само название, которое могло бы послужить поводом для довольно горячей дискуссии. Поразили меня новгородские иконы, писанные до татарского нашествия: я вдруг отчетливо понял, что они, эти иконы, эта живопись ни в чем не уступают великому Джотто, что Россия тогда была «беременна» Возрождением, но роды прервали татаро-монголы. Кто-нибудь попытался представить себе, какой была бы Россия, не случись этого нашествия и двухсот пятидесяти лет ига? Если бы Русь, развивавшаяся в ногу с Европой, выдававшая своих княжон замуж за французских королей, не была отрезана на три долгих века от европейской цивилизации?

Что было бы, если бы Москва Ивана III проиграла новгородскому вече? Что было бы, если бы Русь приняла не православие, а католицизм? Что было бы, если бы русское государство не заковало собственный народ в кандалы крепостничества? Что было бы, если бы всего лишь через пятьдесят с небольшим лет после отмены крепостного рабства не установилось рабство советское? Много вопросов, на которые нет ответов, а есть лишь мало чего стоящие догадки... Я отдаю себе отчет в том, что не принадлежу русскому народу. Да, временами я мечтал о дне, когда смогу с гордостью сказать: «Я – русский!» Это было в Америке, когда Красная Армия громила Гитлера, это было потом, когда мы приехали в Берлин, это было, когда я получил настоящий советский паспорт, при заполнении которого мне следовало указать национальность – по маме (француз) или по папе (русский), и я, ни секунды не сомневаясь, выбрал «русский», это было и тогда, когда исполнилось мое заветное желание и мы наконец-то приехали в Москву. Но постепенно, с годами, я стал понимать, что заблуждался. И дело не в том, что многие и многие намекали – мол, с фамилией Познер русским быть нельзя, и это было крайне неприятно, даже унижительно. Просто я ощущал, что по сути своей я – не русский. А что это значит конкретно? Ответить почти невозможно, потому что почти невозможно дать точное определение «русскости». В одной из моих телепередач Никита Михалков сказал, что русским может быть только тот, у кого чего-то нет, но нет не так, чтобы оно обязательно было, а так, что и хрен с ним. Допускаю... Но этот характер, склонный к взлетам восторга и депрессивным падениям, эта сентиментальность в сочетании с жестокостью, это терпение, граничащее с безразличием, это поразительное стремление разрушать и созидать в масштабах совершенно немыслимых, это желание поразить и обрадовать всех криком «угощаю!» – при том, что не останется ни рубля на завтра и не на что будет купить хлеб для собственной семьи, эта звероватость вместе с нежностью, эта любовь гулять, будто в последний раз в жизни, но и жить столь скучно и серо, словно жизнь не закончится никогда, эта покорность

судьбе и бесшабашность перед обстоятельствами, это чинопочитание и одновременно высокомерие по отношению к нижестоящим, этот комплекс неполноценности и убежденность в своем превосходстве, – все это не мое. Когда я еще был мальчиком, тетя Лёля читала мне переведенные на английский русские сказки, и я не мог понять, как герой не то что тридцать лет, а вообще мог сидеть на печке, да потом еще одним махом семерых побивахом, как могло быть так, что Иван-дурак – всех умней, почему достаточно поймать золотую рыбку, чтобы исполнились три любых желания, но они не исполнялись никогда, ибо жадность фраера сгубила...

Нет, при всей моей любви к Пушкину и Гоголю, при всем моем восхищении Достоевским и Толстым, при том, что Ахматова, Цветаева, Блок и Булгаков давно стали частью моей жизни, я осознаю: я – не русский.

* * *

Дело это было опасное, особенно для человека с биографией моего отца. По мере того как гестаповская машина тщательно собирала и анализировала обрывки сведений о нем и его деятельности, стало очевидным, что надо бежать в так называемую Свободную зону Франции.

Понятно, что обо всем этом я узнал через много лет, какие-то вещи я додумываю, исходя из разных рассказов. Но помимо и значительно раньше этого был процесс познания, было множество разных мелких случаев – каждый по отдельности не означал ничего, но в сумме они складывались в некую картину, которая способствовала моему развитию и пониманию происходившего.

Вот мы весело шагаем по Елисейским Полям – моя мама и двое немецких офицеров-красавцев. Высоченные, с «арийскими» лицами, отмеченными шрамами студенческих сабельных дуэлей, они держат меня за руки и раскачивают вверх-вниз, все выше и выше. Я пишу от удовольствия, мама смеется. Значит, les boches[9 - Les boches – немцы, фрицы (фр.).] не такие уж плохие, верно?

С папой в Париже. 1939 г.

Прошло несколько дней. Я вышел из школы после уроков. Стоявший на часах немецкий солдат, следивший за тем, чтобы излишне патриотично настроенные старшеклассники лица не нарушали порядок, потрепал меня по голове и подарил мешочек со стеклянными шариками. Придя домой, мама застала меня катающим их по ковру.

- Откуда шарики? - спросила она.

- Мне их подарил немецкий солдат, - ответил я.

И тогда мама, нежнейшая из всех женщин на свете, в первый и в последний раз в жизни дала мне пощечину.

- Ты не смеешь принимать подарки от немцев, - сказала она.

А раскачиваться у них на руках посреди Парижа?

Вот мы с мамой едем в метро в вагоне второго класса (вагоны первого класса - только для представителей высшей, арийской расы). Впрочем, рядом с нами сидит немецкий офицер (видимо, ариец-демократ). На следующей остановке в вагон входит женщина. Она явно на сносях. Офицер встает и предлагает ей сесть. Она его не замечает. «Прошу вас, садитесь», - говорит он. Женщина смотрит сквозь него, будто его нет. «Прошу вас, мадам», - повторяет он с мольбой в голосе. Она продолжает не замечать его. На следующей остановке офицер выскакивает из вагона, бормоча под нос какие-то ругательства. Общий вздох удовлетворения звучит громче, чем хор триумфальных возгласов, и мама смотрит на меня сияющими глазами.

Мама в Биаррице окружена вниманием. 1940 г.

Лето 1940 года. Меня родители отправили в Биарриц, город на Бискайском заливе. Там живет Маргерит, друг семьи. Для всех она Маргерит, а для меня - моя обожаемая Гигит. Окна ее квартиры смотрят на больницу, в которой лечатся

и выздоравливают немецкие военные. Однажды я увидел, как несколько солдат гоняют мяч. Я тут же забрался на подоконник, прильнул к окну и стал громко болеть. Вдруг мое ухо было схвачено железными тисками, и совершенно чужая, сумрачная Гигит буквально сдернула меня с подоконника, закрыла ставни и в наказание за то, что я смотрел на немецких солдат, лишила жареной курицы и зеленого салата – самых любимых моих блюд. Я был отправлен спать без ужина. В пять часов утра или около того Гигит грубо растолкала меня и велела одеваться. На улице было промозгло. Держа меня крепко за руку, она направилась в сторону набережной. Когда мы пришли, мне показалось, что там собрался весь город – сотни людей стояли в гробовом молчании. Они чего-то ждали, всматриваясь в темные воды залива. Я прижимался к Гигит, ожидая неизвестно чего, но зная, что оно обязательно появится. Потом толпа зашевелилась, задышала, все головы повернулись в одну сторону, и оно появилось-таки, оно принеслось тем самым коварным течением, об опасности которого знали все жители, о котором всегда предупреждали желающих купаться, в том числе и немцев – но разве представители высшей расы боятся какого-то жалкого течения? Проплыл труп первого утопленника, потом второго, третьего... Всего в этой зловещей тишине их пронеслось пятеро. Не сказав ни слова, Гигит развернула меня и зашагала домой, где налила кружку горячего шоколада и сказала:

– Вот на таких немцев ты можешь смотреть.

Уроки эти я усвоил.

* * *

В 1979 году, после двадцати семи лет пребывания в рядах тех, кого в СССР называли «невыездными», я оказался в парижской квартире тети Тото и увидел на стене необыкновенной красоты портрет совсем молодой Гигит – портрет работы художника Анненского. Тогда, в двадцатые годы, Маргерит работала манекенщицей. Она была необыкновенно хороша собой. Почему-то мне кажется, что Анненков был ее любовником – у меня нет никаких данных на сей счет, кроме самой картины: только влюбленный человек мог написать ее, только влюбленная женщина могла так смотреть на своего живописца.

Потом, когда изменился строй и поездка за границу стала делом нормальным, я много-много раз бывал у Тото – и всегда подолгу смотрел на портрет моей Гигит.

Тото завещала его мне, и теперь он висит у меня дома, я вижу Гигит каждый день и каждый день молча с ней здороваюсь, ощущая прилив нежной радости.

* * *

Мне 6 лет, маме – 30. Марсель, 1940 г.

Девочка, с которой я дружил в Марселе. Мы уехали в Америку, а она осталась... И погибла во время бомбардировки. 1940 г.

К осени 1940 года мы оказались в Марселе. В то время Франция еще была разделена на две зоны. Одну занимали немцы, другая, так называемая «Свободная», управлялась профашистским правительством Петена-Лавалея. Для переезда из одной зоны в другую требовалось разрешение немецких властей, к которым, понятно, мой отец не мог обращаться. В отличие от Бараша, он понимал: его безопасность зависит от умения не стать учтенной частичкой немецкого аппарата слежения; ускользнуть от этого чрезвычайно тяжеловесного тевтонского механизма было не так уж сложно, но, попав в него однажды, человек в итоге неминуемо погибал.

Папа переехал в Свободную зону по подложному документу (чего я тогда, конечно, не знал). Много лет спустя он показал его мне – работа была грубоватая, явно любительская, но в те первые месяцы оккупации немцы были настроены довольно благодушно. В Марселе мы остановились в пансионате «Мимоза», третьеразрядной гостинице, принадлежавшей родителям Вовы Бараша. Когда я вспоминаю эти времена, до меня доносится голос мамы Бараш (ее обычно называли «мадам Рита») – голос громкий, требовательный, созывающий всех на обед, главным блюдом которого не редко становились улитки в чесночном соусе. Еще одним главным «блюдом» был обычай дразнить le

petit Vova (то есть меня), обещавшего молчать весь обед. Условия были простые: если я не пророню ни слова, мне купят любую игрушку, которую я захочу. Если же проиграю, то буду получать улитки на обед семь дней подряд. Понятно, что как бы меня ни доводили, я молчал. Победив однажды, я потребовал в подарок (и получил) замечательную лодку на батарейке. Я пускал ее в ванне в пансионате вместе с Мари, девочкой моего возраста, которую очень любил. Когда мы уезжали из Марсея, я подарил ей эту лодку. Вскоре после нашего отъезда Мари погибла в союзнической бомбардировке.

Отъезд наш был делом не простым. Не для меня и мамы – ее паспорт был в полном порядке, требовалась лишь печать оккупационных властей. А вот отец нуждался в специальном пропуске, и на сей раз никакая подделка не годилась. К счастью, гестаповцы брали взятки, так что вся проблема сводилась к одному: где найти деньги? Их предложила отцу богатая еврейская семья – при условии, что с нами уедет их взрослая дочь. Родители сообщили мне, что мы едем с моей «няней». Я никогда прежде не видел этого человека, не имел о нем ни малейшего представления, я был всего лишь шестилетним мальчиком, которому сказали явную ложь. Но я совершенно точно помню, что меня это никак не смущало: хоть это и не моя няня, она должна считаться таковой, кто бы ни спросил. Мне было понятно, кто именно может спросить и что случится с «няней», если этот кто-то узнает правду.

В зависимости от обстоятельств и окружения ребенок способен мгновенно повзрослеть. Мне никто не рассказывал о том, что немцы убивают евреев. Но я это знал...

Мы получили деньги и потом документы. На поезде пересекли франко-испанскую границу, провели несколько дней в Барселоне и Мадриде, затем поехали в Лиссабон, сели на корабль «Сибонэ» и поплыли в Америку. Путешествие не оставило никаких следов в моей памяти, кроме двух – зато ярчайших. Первый связан с тем, что моя мама потеряла одну из любимых своих вещей: маленький шелковый галстук-бабочку синего цвета в белых горошках и с красной каемочкой. Его нашел мальчик, который был меня чуть больше и чуть старше. Я обрадовался, заметив бабочку в его руке, но он отказался отдать ее, и я бросился на него с таким же праведным гневом, с каким рыцарь Круглого стола, скажем, сэр Ланцелот, сразился бы за честь любимой дамы. Я за свою жизнь познал немало радостей, но лишь немногие могут сравниться с тем чистым восторгом, который я испытал, когда вручил маме то, что отвоевал для нее в честном бою, и увидел ее взгляд, полный благодарности и гордости.

Папа. Фото на паспорт перед отъездом из оккупированной Франции. 1940 г.

Мама. Фото на паспорт. Война сильно изменила ее. 1940 г.

О второй истории я предпочел бы забыть. Опасаясь немецких подводных лодок, капитан нашего корабля шел южнее курса, принятого для рейса Лиссабон – Нью-Йорк. В районе Бермудских островов он заметил тушу кита. Вонь от нее стояла совершенно невыносимая, но капитан, надеясь добыть ценнейшее вещество, амбру, решил взять тушу на борт. Корабль остановился. Потребовалось довольно много времени, прежде чем команде удалось громадной сетью обхватить разлагавшийся труп. Дважды стальной трос корабельного крана лопался со звуком пушечного выстрела, но в конце концов кита подняли на борт – и тут вслед за ним стали выпрыгивать из воды акулы: оказалось, целая стая кормилась и теперь внезапно лишилась лакомства. Разложив китовую тушу на нижней палубе, матросы решили позабавиться и занялись охотой на акул. Нацепили огромный кусок сала на стальной крюк, привязанный к корабельному тросу, и забросили в воду. Выстроившись вдоль нижнего борта, они передавали трос из рук в руки так, чтобы сало как бы плыло по воде. Почти сразу же одна из акул схватила приманку, и матросы, дружно выкрикивая нечто вроде «И – раз... и – раз!», вытянули ее из воды и подняли на борт. Я стоял на средней палубе, непосредственно над этой рыбой. В ней было метра три – для акулы размер не гигантский, но вполне внушительный, особенно с точки зрения шестилетнего ребенка. Один из матросов взял топорик и рубанул им акулу несколько раз. Топорик отскакивал от ее тела, не оставляя следов. Прошло несколько минут, и акула, до этого бившая хвостом по палубе, замерла. Она казалась мертвой, но и мертвая внушала страх. Потом один из матросов подошел к ней и ткнул ее пальцем в глаз. Акула дернула головой, и матрос отшатнулся. Фонтан крови хлестанул вверх в мою сторону, а матрос остался стоять и обалдело смотреть на то место, где прежде была его кисть: акула отхватила ее одним движением челюстей. С тех самых пор я боюсь акул. Это единственное животное, которое внушает мне страх. Когда-то я панически боялся самолетов, и часто мне снился один и тот же кошмар: лечу над Атлантикой, самолет падает, но я не тону, а

болтаюсь в спасательном жилете, кажется, я спасся – и тут появляется самая страшная из всех акул, большая, белая, и рвет меня на части. Боязнь летать я давно преодолел. Боязнь акул – нет и вряд ли одолею.

В нью-йоркском порту нас встречал Стив Шнайдер с родителями. Больше всего меня удивило то, что мы со Стивом одного роста. Полтора года назад, когда мы уезжали, я был заметно выше его. Позже я понял, что из-за дефицита калорийного питания в оккупированной Франции я стал расти медленнее. Вернувшись в Штаты, я мгновенно «пошел вверх» и вновь обогнал Стива.

Наша первая нью-йоркская квартира находилась на Бликер-стрит, в том районе города, который называется Гринвич Вилладж. Это была замечательная улица. Она даже фигурирует в одной из самых моих любимых американских народных песен о товарном поезде, где есть такие слова:

When I die please bury deep

Down at the end of Bleeker Street...[10 - Когда я умру, похороните меня поглубже в конце улицы Бликер... (англ.)]

Квартирка была небольшая: три комнаты, вытянутые кишкой, да махонькая кухонька. В средней комнате спали родители, я спал в последней, за которой находилась ванная. Первую же комнату можно было – при наличии воображения – считать столовой.

Вова Бараш, папин друг. Он закончил свою жизнь в газовой камере. 1940 г.

* * *

Я точно не помню, в какой из приездов в Нью-Йорк отправится на Бликер-стрит искать нашу первую квартиру. Нашел я ее без малейшего труда, так как этот район города – Гринвич Вилладж – совершенно не изменился. Такое впечатление, что не снесли ни одного дома, не построили ничего нового. Не

представляю, каково это – вернуться в город своего детства и этого города не узнать. Но я рад, что такого не произошло со мной. Мне трудно описать чувства, которые я испытал, оказавшись здесь через сорок пять лет после того дня, когда семилетним мальчиком впервые вошел в этот подъезд... Счастье?

* * *

Вот одно из первых воспоминаний: отец кнопками прикрепляет к двери встроенного шкафа большую контурную карту Европы и Европейской части СССР, затем черным карандашом заштриховывает территорию, захваченную немцами после 22 июня 1941 года. При этом он говорит, что им не победить Советский Союз:

– Они никогда не возьмут Ленинград, они никогда не возьмут Москву.

Я помню, с каким вызовом он повторял эти слова, в то время как остальные жалели «бедных русских», у которых нет ни малейших шансов, которым осталось ждать пару недель, в лучшем случае месяц-другой, пока с ними не будет покончено. «Никогда не победят немцы, – настаивал мой отец, – потому что фашизму невозможно победить социализм, единственную справедливую систему, объединившую всех, словно братьев, и сделавшую их непобедимыми».

В декабре 1941 года у самых ворот Москвы Красная Армия пошла в контрнаступление. Гитлеровский вермахт потерпел первое поражение. По мере наступления советских войск папа заштриховывал отвоеванную территорию красным карандашом, приговаривая (я и сейчас слышу торжественные нотки в его голосе):

– Видишь? Я же говорил тебе!

Это было начало моего политического образования, тогда я впервые услышал слово «социализм», впервые задумался о том, что система может быть справедливой или несправедливой. Пожалуй, именно тогда возник в моем воображении образ страны, которую зовут Советским Союзом, страны, достойной уважения, благодарности и любви.

Я в Марселе. Скоро покинем Францию надолго. 1940 г.

И вот я в Америке. Штат Нью-Гемпшир. 1942 г.

Летний дом наших друзей в городке Массапика, где я провел одно лето

Одно из первых «американских» воспоминаний того военного времени связано с антисемитизмом. Мне было семь лет. Я шел по Бликер-стрит, когда меня остановили двое ребят. Они были больше меня и, как я позже узнал, жили в небольшом ирландском католическом анклав. (Замечу в скобках, что в те годы остров Манхэттен, то есть самый центр Нью-Йорка, состоял из десятков таких анклавов, в которых иммигранты из тех или иных стран, тяготея к «своим», особенно на первых порах, пока встраивались в новую жизнь, жили рядом. По мере ассимиляции иммигрантов многие из этих анклавов со временем исчезли.) Один из ребят схватил меня за плечо и спросил:

– Ты еврей?

Насколько я помню, я никогда прежде не задумывался о своем происхождении. В оккупированной Франции я что-то слышал о евреях и знал о том, что нацисты преследуют их – и это автоматически делало всех евреев героями в моих глазах. Отец учил меня тому, что все люди – люди, что иметь предрассудки в отношении расы или религии – то же самое, что быть нацистом. Поэтому мой ответ был предопределен:

– Не твое собачье дело.

Тот, что был побольше, повернулся к своему приятелю и предложил:

– Ладно, давай снимем с него штаны и посмотрим.

Я не имел ни малейшего представления о том, почему они хотят снять с меня штаны и какое это имеет отношение к заданному вопросу, но не стал размышлять на эту тему. Я побежал от них что было мочи. А надо сказать, бегал я очень быстро. Они кинулись вдогонку. Я завернул за угол и на полном ходу врезался в живот громадного полицейского. В те годы в городскую полицию Нью-Йорка не принимали никого ростом ниже шести футов (ста восьмидесяти двух сантиметра). Все полицейские были ирландцами по происхождению, здоровенными, голубоглазыми, рыжими – никаких «черных», латиносов, женщин. Когда я вернулся в город после тридцативосьмилетнего перерыва, мне в глаза бросились именно рост и внешность тех, кого нежно называли «гордостью Нью-Йорка»: среди них появилось множество невысоких, смуглолицых, «черных» и – да, даже женщины попадались. Итак, я врезался в эту громадину, он сгреб меня в охапку ручищами, каждая размером с окорок, и прорычал:

– Ты что, парень?

Я был весь в слезах, перепуган насмерть и проблеял, что с меня хотят снять штаны и что-то посмотреть. В этот самый момент два моих преследователя выскочили из-за угла. Увидев полицейского, они притормозили, но было поздно. Он отпустил меня и одним поразительно ловким и быстрым движением схватил каждого за воротник, оторвал от тротуара и стал трясти так, как терьер трясет пойманную крысу.

– Ах вы, ублюдки! – заорал он. – Как вам не стыдно! Я поговорю с преподобным отцом Кленси, уж он вас отделает как положено!..

Понятное дело, он знал все ирландские католические приходы наперечет. Тут оба мальчика заревели во весь голос. Он еще немного потряс их, потом опустил с такой силой, что подошвы их ботинок гулко стукнули об асфальт, и словно бык заревел:

– Вон с глаз моих!

И они исчезли. Ирландец повернулся ко мне:

– И ты, парень, давай чеши отсюда. И чтобы больше нюни не распускал. Стыдно же!

Я никогда не забуду этого полицейского. Бывало, мы встречались, когда он патрулировал наш район. Он проходил мимо, молча, величаво, но подмигивал мне. Больше никто ко мне не приставал. И если вам показалось, что я идеализирую стражей порядка из моего нью-йоркского детства, надеюсь, вы не станете упрекать меня за это.

На Бликер-стрит мы жили недолго. Отец стал прилично зарабатывать, и мы переехали на Восточную сорок восьмую улицу, между Третьей и Второй авеню. (Для тех, кто никогда не бывал на Манхэттене, небольшая справка: кроме самой южной, или нижней, части острова, где город зарождался в семнадцатом веке и где улицы беспорядочно бегут в разных направлениях, как в старых городах Европы, весь остальной Нью-Йорк разделен идущими с юга на север авеню (проспектами) и с востока на запад – стрит (улицами). За редким исключением все авеню и стрит не имеют иных названий, кроме номера. Так, стрит, поднимаясь с юга на север, возрастают по нумерации, авеню же возрастают с востока на запад. Остров Манхэттен делится на восточную и западную части, причем разделительной линией служит Пятая авеню. Я жил на Восточной сорок восьмой стрит, то есть к востоку от Пятой авеню.) Из трехкомнатной квартиры, или, как принято считать в Америке, квартиры с двумя спальнями, мы переехали в четырехэтажный дом, так называемый браунстоун. Мальчишке там было раздолье. Более всего мне почему-то запомнилась кухня на первом этаже, где я получил первые уроки кулинарии от мамы и где папины русские друзья, такие же отверженные революцией люди, как и он, собирались, чтобы гонять чай и спорить о политике. Я не знал ни одного слова по-русски, но иногда из уважения к маме они переходили на французский, что помогало мне хоть как-то уловить смысл обсуждаемого.

Есть еще одно воспоминание, которое я тоже с радостью стер бы из памяти. На восточной стороне Третьей авеню в районе пятидесятих улиц размещалось множество антикварных магазинчиков и лавок. Сквозь стекла их витрин я с воодушевлением разглядывал предметы старины: окуляры, письменные принадлежности, бронзовые чернильницы... Однажды я увидел настоящую кавалерийскую саблю. Желание обладать этим роскошным предметом было сильнее меня. Я вошел в магазин и спросил хозяина, сколько он хочет за саблю. Мне было девять лет, поэтому он равнодушно посмотрел на меня и процедил: «Пять баксов».

Ради этой сабли я готов был пойти на любое преступление и выкрал пять долларов из сумочки тети Кристиан, жившей в те годы у нас. Потом, за ужином, я рассказал захватывающую историю о том, как на улице нашел пятидолларовую бумажку и – хотите верьте, хотите нет – купил себе кавалерийскую саблю времен Гражданской войны. Я был уверен в убедительности своей истории, но как оказалось, не подумал о том, что тетя Кристиан тщательно считает каждый свой доллар. Она была матерью-одиночкой, зарабатывала на жизнь в поте лица и жила с нами потому лишь, что не имела денег на аренду квартиры. Она знала, сколько денег в ее кошельке – до последнего цента. И в тот самый день, когда я «нашел» пять долларов, она обнаружила их пропажу. Собственно, тогда я получил урок под названием «преступление и наказание» (надеюсь, Федор Михайлович и его поклонники простят меня за невольный плагиат). Как и подавляющему большинству людей, мне пришлось испытать последствия своей глупости на собственной шкуре. Я и сейчас ежусь от стыда, вспоминая беспощадный, презрительно-холодный допрос, учиненный отцом, а потом позор, который я испытал, будучи вынужден подняться к тете в комнату, чтобы признаться ей в содеянном. Урок был жестокий, но полезный: я тогда понял, что моральное наказание гораздо болезненнее, чем физическое, и оставляет значительно более глубокие раны.

Летний дом, который снимали мои родители в Миллер Плейсе на Лонг Айленде

Папа, я, Пэт Уиндрои. Миллер Плейс, 1944 г.

В 1944 году мы переехали в изумительную двухуровневую квартиру на Восточной Десятой стрит между Пятой авеню и Университи Плейс. Эта квартира остается в моей памяти как одна из самых красивых, какие я когда-либо видел. Она принадлежала знаменитому в то время адвокату Артуру Гарфилду Хейзу и была плодом дизайна его супруги, женщины необыкновенно талантливой, на много лет опередившей вкусы в области архитектуры интерьеров. Она скончалась в молодом возрасте, и господину Хейзу стало невозможно жить там, где все напоминало о ней. Он переехал на четвертый этаж этого браунстоуна, принадлежавшего ему целиком, мы же сняли ту самую чудесную квартиру,

расположенную на втором и третьем этажах. На первом жил знаменитый в то время киноактер Джон Гарфилд.

* * *

Говорят, невозможно вступить дважды в одну и ту же воду. Вернувшись в Нью-Йорк, я отправился посмотреть и на этот свой дом. Поднявшись по его ступенькам и присмотревшись к фамилиям его жильцов, я увидел, что в квартире господина Хейза, давно почившего в бозе, живет его дочь, с которой я когда-то был знаком. Набравшись храбрости, я позвонил. Когда по домофону женский голос спросил: «Кто там?» – я сказал: «Это Влад Познер». Она промолчала буквально пять секунд, потом раздалось: «Влад! Это ты?! Поднимайся!» И я вошел второй раз в одну и ту же воду. Так и хочется процитировать Гоголя: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете – редко, но бывают».

* * *

Эти годы – с 1941 по 1946 – были для меня счастливыми. Я ходил в замечательную школу, «Сити энд Кантри», в которой обучались дети весьма обеспеченных, но либеральных родителей. Это была, конечно, частная школа, более того, одна из самых старых частных школ Америки. В те годы почти не было частных школ, в которых «чернокожие» дети учились бы с белыми, но здесь все было иначе: нам внушали мысль, что цвет кожи не имеет значения. С нами занимались несколько цветных ребят (тогда не появилось еще понятие «политкорректность» и негров полагалось называть цветными, а не «черными», как сейчас). Сегодня никого этим не удивишь, но в те годы это было нечто из ряда вон выходящее, можете мне поверить. У нас были замечательные учителя. Они не только любили детей, но – что не менее важно – знали, как обращаться с ними.

Я с двухлетним Павликом. Нью-Йорк, 1947 г.

* * *

Потом настало время, когда слово «цветной» уступило место слову «черный», а за ним последовало «афроамериканец». Странно все это. Мы все цветные в той или иной степени. Нет ни реально белых, ни «черных», ни желтых. Но есть расизм и сопряженное с ним чуть стыдливое стремление подчеркивать свою «особливость». Помню, отец говорил, что в Советском Союзе нет расизма, нет антисемитизма, со смехом рассказывал, как после революции жестко боролись с этим, и люди вместо «поджидаю трамвай» говорили «подевреиваю трамвай». Я еще вернусь к этому вопросу, но не могу не сказать о том разгуле расизма, крайнего национализма, шовинизма, которым охвачена нынешняя Россия. Такое впечатление, что никакого Советского Союза с его «дружбой народов» и не было (а была ли она, это дружба?) и все вернулось к царской империи с ее черными сотнями, союзами Михаила Архангела и прочими прелестями. В интеллигентской среде не считаются зазорными (уж не говорю – позорными) высказывания типа «терпеть не могу „черных“, „все чеченцы – вору и убийцы“ и столь же „лестные“ суждения о грузинах, армянах, азербайджанцах, казахах, узбеках, таджиках и так далее – список бесконечен. Постепенно я прихожу к выводу, что Россия – страна расистов. И поразительно то, что ни руководство, ни церковь, ни даже правозащитники не считают нужным противостоять этому.

Мама. Нью-Йорк. 1946 г.

* * *

Помню директора и основателя школы Кэролайн Пратт – женщину поразительную.

Я был драчуном. В течение первых двух лет моей учебы в школе (классы обозначались в соответствии с возрастом учащихся: семилетки – в седьмом классе, восьмилетки – в восьмом и так до выпускного, тринадцатого) я постоянно затевал драки. Поскольку для своих лет я был довольно крупным мальчиком, потасовки чаще всего кончались в мою пользу. Как поступили бы со мной в обычной школе? Наказали бы, попытались бы так или иначе сломить меня и, если бы ничего не получилось, выгнали бы. Так сделали бы многие школьные

директора, но только не мисс Пратт. По окончании мною восьмого класса она вызвала меня к себе в кабинет на беседу. Она сказала, что я – отличный мальчик, но есть проблема: я слишком опережаю в развитии учеников моего класса. Поэтому она приняла решение перевести меня через класс. Таким образом, я начну новый учебный год не в девятом, а в десятом классе. Я заплакал и стал упрашивать ее не делать этого. Мне казалось, что меня выдергивают из моего привычного мира и бросают в мир чужой и враждебный. Мисс Пратт улыбнулась, погладила меня по голове и ободрила: «Не плачь, Влади, – чаще всего меня так называли в Америке, – все будет хорошо».

Я со своим любимым Жуком. Нью-Йорк, 1945 г.

Таким образом я оказался в классе, где ребята были на год, а то и на два старше меня... и конечно же значительно крупнее. Вот так решила мисс Кэролайн Пратт справиться с моей агрессивностью. Если я хотел драться, она не возражала, но предложила драться с теми, кто способен дать сдачи, чтобы я не взял в привычку мутузить слабых. Что до возможных моих проблем с успеваемостью, то этот вопрос даже не возникал.

Встреча нового 1947 года у нас дома. Мама крайняя слева

Учеба в «Сити энд Кантри» совершенно отличалась от общепринятой системы зубрежки. Могу даже сказать, что нигде более я ничего подобного не встречал. Я не помню, чтобы мы учились по учебникам, у нас их не было вообще, но те знания, то мировоззрение, которые я получил в этой школе, определили мое отношение к жизни. Я назвал бы его гармоничным, а не конфронтационным.

У нас была своя столярная и гончарная мастерские. Там нас учили эстетике, хотя мы и не подозревали, что нас хоть чему-то там учат. В одиннадцатом классе у нас были свои печатные станки – один ручной, другой электрический. Мы учились печатному набору, сдавали экзамен и получали звание подмастерья или

мастера. Мы печатали для школы пригласительные билеты, рекламные листы, конверты и т.д. В одиннадцатом классе мы познакомились с Гутенбергом – изобретателем печатного станка, узнали о Высоком Возрождении в Европе. И получалось так, что Гутенберг и его станок для нас являлись не покрытыми пылью веков субъектами истории, а живыми и совершенно реальными. Мы сами становились гутенбергами, управляя созданной им машиной, конкурируя за право набора и печати, за право называться мастером-печатником. Когда мы проходили Средние века в десятом классе, нас обучили письму по пергаменту, умению смешивать краски и пользоваться ими так, как это когда-то делали средневековые монахи. Каждый из нас выбирал себе одного ученика выпускного тринадцатого класса и в течение полугода работал над его дипломом, расписывая в нем заглавные буквы кармином и золотом. Сидя над листами пергамента, мы были не Питером, Влади или Биллом, сидящими в школьном классе города Нью-Йорка, – нет, мы были монахами, затерявшимися в своих кельях где-то в средневековой Франции или Англии; до нашего слуха доносился слабый перезвон колоколов, а мы корпели над творениями, которые когда-то, через много веков, вызовут удивление и восхищение у будущих поколений.

Школа предлагала нам самую разнообразную деятельность. Ученики восьмого класса заведовали школьной почтой – продавали марки, конверты, открытки, которые покупали и учителя, и учащиеся. Это был совершенно конкретный способ учиться как арифметике (ведь надо было вести книги учета), так и обслуживанию клиента. Девятый класс заведовал школьным магазином писчебумажных принадлежностей. Там можно было купить карандаши, тетради, блокноты, ластик, акварельные краски и кисти и многое другое. Школа приобретала все это по оптовым ценам, а ученики продавали по розничным, вели бухгалтерский учет, одновременно усваивая такие понятия, как дроби, проценты, прибыль и кредит. Да, это была поразительная школа, но самым невероятным в ней, самым ее сердцем, по крайней мере на мой взгляд, являлась библиотека и заведовавшая ею библиотекарь. Я не помню ее фамилию, но помню лицо с такой ясностью, будто мы с ней виделись вчера, а не сорок с лишним лет тому назад. Библиотека манила каждого из нас – при первой же возможности мы неслись туда сломя голову. Это был большой зал, вдоль трех стен которого и до самого потолка стояли полки с книгами. Четвертую стену занимали шесть громадных окон, благодаря чему библиотека всегда была залита светом. Никому из нас никогда не говорили, что нельзя брать ту или иную книжку потому, мол, что мы еще маленькие. Но нас необыкновенно умело подводили к нужным книгам, я бы даже сказал, соблазняли именно теми книгами, которые были для нас полезны. Вот ты стоишь у одной из полок, изучая разноцветные корешки, и библиотекарь подходит к тебе, нагибается и с заговорщическим видом шепчет

на ухо: «Тут есть книжечка одна... Советую тебе взять ее, пока не схватил кто-нибудь другой. Хочешь?»

Еще бы, конечно, хочу! Вот так мы часами сидели в белых с синими подушками соломенных креслах, расставленных в форме каре по всему залу, и читали. Мы словно ныряли в эти тайные книги, выходя на поверхность для того лишь, чтобы, оглядевшись, испытать сладкое чувство своей избранности, ведь только мы владели этим сокровищем. Книги вели нас в новые, сказочные миры. Я шел рука об руку с медвежонком Пухом, боролся против шерифа Ноттингемского и ничтожного Короля Джона вместе с Робин Гудом и его веселыми ребятами (особенно я любил Малыша Джона), я сражался на стороне Короля Артура и рыцарей Круглого стола, среди которых выделял Ланцелота и Гавейна, я участвовал в войнах Алой и Белой розы, отбивал девицу Мэриан и лично прикончил сэра Гая из Гисборна; вместе с Джимом Хокинсом я был на Острове сокровищ, и резкие крики попугая Длинного Джона Сильвера до сих пор звенят у меня в ушах; я плывал по Миссисипи с Томом Сойером, Геком и Джимом, я влюблялся в Озму, принцессу Изумрудного города, я раскачивался в такт Песни о Гайавате; я дрался плечом к плечу с д'Артаньяном, Атосом, Портосом и Арамисом (именно в таком порядке); я не уступил «Волку» Ларсену; я безудержно плакал на судьбой каждого из животных, населявших страницы книг Эрнеста Сетона Томпсона; я раскачивался на лианах в джунглях вместе с Маугли, утопал лицом в шелковой шерсти Багиры, вместе с Рикки-Тики-Тави чувствовал, как глаза мои наливаются кровью и ноги напрягаются в ожидании отвратительных гадин Нага и Нагиньи. Словом, я кое-что повидал на своем веку – и это лишь малая часть.

Что и говорить, эта библиотека да и вся школа были уникальны. И за всем этим стояла настоящая забота, настоящая любовь учителей к детям. Это я стал понимать гораздо позже, тогда все принимая как должное. Хотя имел уже и другой опыт, относившийся к первому моему школьному году во Франции. 1940 год – время оккупации, учителя были подобраны немцами. Нас, учеников, рассаживали в классе в соответствии с успеваемостью: лучший ученик сидел справа за первой партой, за ним, за второй партой, ученик, занимавший второе место по успеваемости, за ним – третий. Всего в классе было четыре ряда по десять парт в каждом. За последней, сороковой, партой крайнего левого ряда, сидел худший из всех. В течение года нас передвигали вперед-назад и слева направо, словно фигурки в какой-то причудливой игре. На самом деле все это приводило к конкуренции и зависти среди шестилетних детей. Учитель расхаживал по классу, держа в руке длинную гибкую деревянную указку с круглым набалдашником на конце. Тот, кто баловался, получал набалдашником

по голове. Это было и больно, и унижительно. Таков был немецкий метод обучения. Или, скажем, французский метод с немецким акцентом.

Я окончил «Сити энд Кантри» в двенадцать лет и поступил в Стайвесант Хай-скул, по-нашему – в среднюю школу имени Стайвесанта. Школа имени первого губернатора Нью-Йорка (в то давнее время город назывался Нью-Амстердамом) голландца Питера Стайвесанта была и остается в числе лучших в Америке. Она одна из тех немногих, для поступления в которые необходимо сдать конкурсные вступительные экзамены. Несмотря на ее академическую элитарность, в классах было по сорок учеников, и большинство учителей относились к ним с полнейшим равнодушием – так по крайней мере казалось мне. Учителя учили нас, тестировали. Если ты преуспевал – значит, преуспевал, если нет – значит нет. Если в конце года по сумме тестов ты получал провальную оценку, тебя исключали. Просто и понятно, и никому нет до тебя дела. Выпускника «Сити энд Кантри», привыкшего к вниманию и любви учителей, подобное отношение шокировало.

Выпускной класс моей любимой City & Country School. Я – во второй справа во втором ряду. 1946 г.

Живя в Америке, я прекрасно понимал, что я – не американец. Не могу сказать, откуда я это знал, хотя, быть может, ощущал интуитивно из-за отца. Ему Америка не нравилась, хотя он весьма преуспел, служа в Louis Incorporated, дочерней компании кинокорпорации MGM (та, чьи фильмы начинаются с появления рычащей львиной головы). В 1946–1947 годах он зарабатывал двадцать пять тысяч долларов в год, что сегодня составляло бы около трехсот тысяч. Как я уже писал, у нас была изумительная квартира, а лично у меня, сопливого юнца, имелась не только собственная спальня, но и отдельная комната для игр и своя отдельная ванная комната. Так что нелюбовь отца к Америке не имела отношения к проблемам карьерным или финансовым. Просто он был до мозга костей европейцем; американцы казались ему людьми поверхностными, неотесанными. Такое мнение многие европейцы разделяют и по сей день.

Новый 1947-й год, за пианино нелюбимый мной Стеллан Уиндрои

* * *

Я уехал из Америки, когда мне было неполных пятнадцать лет. Мое знание страны ограничивалось именно этим опытом; с одной стороны – бесценным, даже невосполнимым, но с другой – все-таки недостаточным. Кроме Манхэттена, где жил и учился, я мало где бывал – летом во время школьных каникул на Лонг-Айленде, под Вашингтоном у моей тети и двоюродных братьев. После отъезда, живя в оккупированной советскими войсками Германии и затем в Германской Демократической Республике, я от Америки был отрезан. Да и оказавшись в Советском Союзе, я не имел никаких контактов с Америкой или американцами вплоть до 1957 года и Всемирного фестиваля молодежи и студентов (об этом еще будет сказано). Не вдаваясь в подробности, скажу, что мое «открытие» Америки началось лишь при первом моем возвращении в страну в 1986 году и продолжалось вплоть до создания документального фильма «Одноэтажная Америка» (2006 год). За эти двадцать лет я не только ездил по стране с лекциями, не только работал на американском телевидении, но исколесил ее вдоль и поперек и могу теперь заявить, что знаю американцев настолько, насколько человеку вообще дано знать какой-либо народ.

Американцев, на мой взгляд, отличают некоторые совершенно замечательные черты: удивительная и совсем не европейская открытость, удивительное и совсем не европейское чувство внутренней свободы, удивительное и совсем не европейское отношение к работе. Есть, конечно, и черты иные – тоже не европейские: в частности, отсутствие любопытства ко всему, что не является американским, довольно низкий уровень школьного образования.

Образ туповатого, малообразованного, хамоватого американца, который так культивируется в Европе, не более чем неудачная карриатура. Образ этот рожден, как мне кажется, одним характерным для всех европейских стран чувством: завистью. Это же относится и к русскому антиамериканизму, к образу «америкоса», столь дорогому многим русским сердцам. Да, американцам и Америке завидуют, многие втайне хотели бы жить так, как живут они, потому носят джинсы и «ти-шерты»[11 - Ти-шерт – от англ. t-shirt – футболка, тенниска.], жуют жвачку, пьют кока-колу, едят в кинотеатрах попкорн, преклоняются перед

голливудскими звездами и блокбастерами, млеют от американских сериалов, восторгаются американской попсой – и завидуют.

В России это принимает престранные формы. Антиамериканизм становится знаменем различного рода молодежных объединений – «Наших», «Нацболов», «Молодогвардейцев», всякого рода полуфашиствующих шовинистических групп. Им противостоят «продвинутые либералы», для которых Америка – вершина цивилизации. Порой все это обретает комические черты.

В России мои противники из «патриотического» крыла обзывают меня «американцем», подразумевая тем самым, что я ненавижу Россию и желаю ей гибели; мои противники из «либерального» крыла (а их, поверьте, ничуть не меньше) не могут обозвать меня «американцем», поскольку это было бы высшей похвалой. Поэтому они используют такие обидные словечки, как «приспособленец», «и нашим, и вашим» и тому подобные.

Смешно. И скучно.

* * *

Итак, я понимал, что я не американец. Но я также осознавал, что я не русский. Как я мог быть русским, если не знал по-русски ни слова? На самом же деле я считал себя французом. А как же? Мама моя – француженка, я родился в Париже, так о чем речь? Француз я – и точка. Это мое убеждение в точности совпадало с французскими законами, принятыми, когда в результате Наполеоновских войн Франция потеряла почти весь цвет своего мужского населения. Закон гласит: ребенок мужского пола, рожденный во Франции от французской матери или французского отца, является гражданином Франции и не может отказаться от своего гражданства без особого решения Хранителя печати государства. Так что с точки зрения французских властей я – не просто гражданин Франции, а гражданин, уклонившийся от военной службы, конкретно – от участия в войне в Алжире. Стоит мне ступить ногой на французскую землю, и власти имеют законное право арестовать меня. Но хоть я и вступал туда не раз, власти выказывали необыкновенное сочувствие к моей непростой жизни. Vive la France!

* * *

Так-то оно так, но требуется некоторое дополнение.

Зимой 2004 года я получил от Эльдара Рязанова приглашение на прием в честь его награждения французским орденом. Рязанов сделал целый ряд телевизионных программ о Франции, представив ее культуру и искусство российскому зрителю, за что правительство этой страны выразило ему благодарность. Все это происходило в резиденции посла, причудливом купеческом особняке, что стоит на улице Якиманке. Собралось довольно много народу, и вот в назначенный час посол Франции господин Клод Бланшмезон, видный мужчина средних лет, выступил вперед и, сказав короткую, но полную достоинства речь, вручил Рязанову орден. Эльдар Александрович, явно растроганный, ответил не менее достойно, раздались аплодисменты, и на этом торжественная часть завершилась. Начался фуршет.

Гости разбрелись по двум-трем залам, а посол вместе со своей переводчицей переходил от группы к группе, обмениваясь, в общем, банальными фразами. Настала и наша очередь, и поскольку я оказался ближе всего к подошедшему послу, он заговорил первым со мной. Не помню, что именно он произнес, но когда его переводчица вступила в разговор, я пояснил на чисто французском языке, что перевод мне не нужен.

- А, так вы француз? - спросил посол.

- Как вам сказать, - ответил я, - я родился в Париже от французской матери, но...

- Никаких «но», - перебил меня господин Бланшмезон, - если вы родились во Франции от француженки, значит вы француз.

- Да, но у меня нет французского паспорта...

- Это не проблема, позвоните мне в понедельник.

Разговор происходил в пятницу. Когда я позвонил в понедельник, секретарь посла сообщил мне, что моего звонка ждет генеральный консул. Я тут же позвонил и был приглашен на среду. Я пришел в указанные день и время, взяв с собой свидетельство о рождении и копию французского удостоверения личности

моей мамы. Консул ознакомился с этими документами и, достав мое личное дело, удивившее меня своим объемом, сказал:

– Что ж, месье, все у вас в порядке. Месяца через два или три – уж так работает наша бюрократия – вы получите паспорт и удостоверение личности.

Приблизительно через шесть недель мне принесли письмо от консула, в котором было написано следующее:

«Уважаемый месье Познер,

Прошу Вас явиться (день, число, время) для решения интересующего Вас вопроса.

С совершеннейшим уважением,

(Подпись)».

Явившись, я вновь встретился с консулом, который, протянув мне руку, сказал:

– Месье Познер, имею честь поздравить вас с французским гражданством.

Это случилось 16 февраля 2005 года, и тот день остается одним из самых счастливых в моей жизни.

За полтора года до этого я стал гражданином Соединенных Штатов Америки. Это произошло при куда менее романтических обстоятельствах: приехав на работу в США в 1991 году, я вскоре подал бумаги на получение так называемой «грин кард» (green card) – документа, дающего обладателю абсолютно такие же права, как любому американскому гражданину, кроме права голосовать и быть избранным, но и все обязанности тоже, главная из которых – платить налоги.

Green card дается не сразу и не каждому, но я получил ее очень быстро. Не стану докучать вам описанием тех правил, которые надо соблюдать для сохранения грин кард, замечу лишь, что, имея этот документ и прожив в США не менее пяти

лет, вы имеете право подать на гражданство. Что я и сделал. Американский закон гласит: если вы родились в Америке, вы автоматически становитесь гражданином; более того, если вы захотите получить гражданство еще одной страны, вам придется отказаться от американского. Логика простая и очень американская: нет большего блага, чем родиться американцем, и если вы не дорожите этим и хотите получить иное гражданство, что ж, это ваше право, но американского гражданства вас лишат. Однако этот же закон говорит, что если вы не родились американцем, являетесь гражданином другой страны и хотите стать американцем – пожалуйста, ваше иное гражданство не помеха.

Словом, наступил торжественный день, когда меня и мою жену вызвали в центр по получению гражданства, расположенный в нижней части Манхэттена в абсолютно безликом здоровенном здании.

Помимо пятилетнего пребывания, для получения гражданства надо: а) доказать устно и письменно, что вы знаете английский язык и б) ответить на десять вопросов об Америке. При желании вы можете совершенно бесплатно по почте получить вопросы предстоящего «экзамена». В огромном, довольно спартански обставленном и холодном зале ждали вызова человек двадцать «абитуриентов». Почти все были со своими адвокатами, которым в случае чего предстояло доказать, что их клиент достоин американского гражданства. Обстановка была нервная и напряженная. Примерно через двадцать минут ко мне подошел высокий худощавый человек лет пятидесяти, на вид образцово-показательный американский чиновник: невыразительные очки, столь же невыразительный коричневый костюм с короткими, чуть не доходящими до тужель штанинами, белой сорочкой и – опять же – совершенно невыразительным галстуком.

– Екатерина Орлова и Владимир Познер? – спросил он.

Получив утвердительный ответ, он продолжил:

– Мистер Познер, вы не возражаете, если дама пойдет первой?

И увел Катю. Мне было совершенно ясно, что нам оказано особое внимание, ибо к другим жаждущим американского гражданства никто не подходит, лишь по громкоговорителю раздается то и дело:

– Мистер Роберто Гонзалес, кабинет восьмой.

– Миссис Светлана Гринберг, кабинет двенадцатый.

Я же был человеком, известным в США не только потому, что проработал почти семь лет на канале CNBS с Филом Донахью, но, возможно, в большей степени из-за своей прошлой пропагандистской деятельности. Словом, я считался VIP.

Минут через сорок вернулась Катя – гражданка США, по словам чиновника в коричневом, блестяще справившаяся с заданием.

– Теперь, – сказал он, чуть нажимая на каждое слово, – посмотрим, как справитесь вы. И повел меня в кабинет.

– Мистер Познер, – начал он, – прежде всего вы должны доказать, что читаете, пишете и говорите по-английски. Это в вашем случае формальность, но будем соблюдать закон. (Вот оно! Понимаете, это чистая формальность, чиновник знает, что я говорю и пишу по-английски лучше, чем он, но есть порядок и его надо соблюсти. Вся Европа смеется над этим – и напрасно. Это вовсе не демонстрация тупости, ограниченности, нет, это демонстрация абсолютного уважения к закону, который одинаков для всех).

– Вот, мистер Познер, – сказал он, протянув мне лист бумаги, – прочитайте первое предложение.

Я прочел. Затем мне был выдан чистый лист с предложением написать что-нибудь. Я спросил, что именно.

– Напишите: «Я хочу быть хорошим гражданином Соединенных Штатов Америки».

Я написал.

– Что же, – произнес чиновник, – теперь ответьте на десять вопросов, которые я вам сейчас задам. И помните, сделаете больше трех ошибок – значит, не сдали. Ясно?

Я ответил правильно на все десять – и не подумайте, что это говорит о моих глубоких знаниях США. Вопросы были простые.

– Поздравляю, – сказал он. – Позвольте я задам вам еще один вопрос вне программы, для удовлетворения моего личного любопытства. Можно?

И он спросил, какой была первая столица США. Я ответил правильно (Нью-Йорк), и дальше произошло самое интересное. Чиновник достал толстенный фолиант, раскрыл его и уточнил:

– Мистер Познер, заполняя опросник, вы написали, что были членом КПСС. Это так? Я кивнул.

– Вы понимаете, что этот факт дает нам основание отказать вам в гражданстве?

– Да, понимаю. А вы хотели бы, чтобы я соврал и написал, что не состоял?

– Мистер Познер, вы также пишете, что вступили в партию с целью изменить ее к лучшему. Это так?

– Да. Это было наивно с моей стороны, но это так.

– Ну, это же меняет дело! Позвольте поздравить вас с удачной сдачей всех тестов. После этого он вывел меня в зал, где сидела Катя, и проводил нас в еще один кабинет. Там поджидал коренастый, усатый человек в темно-синем костюме, который должен был привести нас к присяге.

– Мистер Познер, вам надлежит повторить за мной клятву верности флагу Соединенных Штатов Америки. Вы готовы? Я кивнул.

Поднимите правую руку и посмотрите на флаг. И теперь повторите за мной.

– «Я клянусь в верности...» – начал он, и я повторил.

– «Флагу Соединенных Штатов Америки...» – продолжал он, и я повторил.

– «И Республике, которую она олицетворяет...» – и я повторил.

– «Одна нация под Богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех...»

И тут я запнулся. Усатый господин вопросительно посмотрел на меня.

– Видите ли, сэр, я атеист, и слова «под Богом» для меня неприемлемы.

– Можете эти слова опустить, – ответил он настолько обыденно, что стало ясно: мой случай далеко не редкий.

Я повторил клятву без упоминания всевышнего, господин с усами пожал мне руку, поздравил с вхождением в гражданство и вручил соответствующий документ за подписью президента Билла Клинтона.

Этот день – 4 ноября 2003 года – тоже числится среди самых счастливых в моей жизни. Завершу эту «паспортную» сагу еще одним рассказом.

Года через два я прилетел из Москвы в Нью-Йорк. Прошел паспортный контроль, где пограничный офицер поздравил меня «с возвращением домой», поехал в гостиницу и обнаружил, что паспорта нет. То ли его украли, то ли я его выронил, но факт оставался фактом: паспорт пропал.

На следующее утро, ровно в девять, я позвонил в Паспортный центр города Нью-Йорка. Как ни старался, я не смог добиться живого человеческого голоса, а бесконечная запись не разъясняла, как мне поступить. И я поехал. Центр этот тоже находится в нижней части острова и выглядит столь же безлико, как тот, в котором я получил гражданство. У входа стояли двое вооруженных автоматами охранников. Я подошел и начал:

– Я потерял паспорт и хотел бы...

Один из них перебил меня:

– Прямо, налево по коридору, белое окошко.

В окошке сидела афроамериканка не слишком приветливого вида.

– Я потерял паспорт... – заговорил я, но она тоже перебила:

– Белый телефон на стенке справа.

И в самом деле, на стене висел белый телефон, а рядом с ним, за прозрачной пластмассовой защитой, была прикреплена инструкция. Начиналась она так:

«1. Поднимите трубку.

2. Услышав гудок, нажмите цифру «1».

3. Услышав слово «говорите», четко и ясно изложите свой вопрос...»

И так далее. Таким образом я получил порядковый номер и время, когда должен подняться на десятый этаж в зал номер такой-то. На часах было 9:30 утра, а встречу мне назначили на 11:00. Я вышел, попил кофе, почитал газету и вернулся без пяти одиннадцать.

– Мой номер такой-то, – сказал я охранникам, которые жестом пригласили меня пройти. Я поднялся на десятый этаж, вошел в большой зал, часть которого состояла из застекленных окошек. Не успел я сесть, ровно в одиннадцать раздался голос: «Владимир Познер, окно номер три». Я подошел. Меня поджидал мужчина лет пятидесяти, лицо которого я почему-то запомнил – может, потому что он удивительно походил на Чехова. – Привет, как дела? – спросил он. – Да так себе. – Что случилось? – Да то ли у меня украли, то ли я потерял паспорт. – Ну, это не беда. Вот вам бланк, заполните его. Я заполнил и вернул бланк Чехову.

– Та-а-а-к, – протянул он, – вы натурализованный гражданин США?

Я кивнул.

– Это чуть осложняет дело. У вас есть документ, подтверждающий ваше гражданство?

– Есть, но он в Москве, я его не вожу с собой.

– А напрасно. Надо иметь при себе хотя бы ксерокопию.

– Я могу позвонить в Москву и попросить, чтобы прислали мне в гостиницу копию по факсу – поеду, получу и вернусь к вам.

– Отлично, буду ждать, – сказал Чехов.

Я тут же позвонил, помчался в гостиницу, где факс уже ждал меня. Схватив его, вернулся в Паспортный центр. В половине первого я подошел к окошку номер три и протянул факсимильную копию. Чехов посмотрел на нее, покачал головой и сказал:

– Сэр, мне очень жаль, но я получил разъяснение, что нам нужен оригинал.

– Но оригинал в Москве. Не могу же я лететь туда, не имея паспорта!

– И не надо, сэр, не нервничайте. В Вашингтоне имеется второй оригинал, который нам пришлют. Но эта операция будет стоить вам девяносто долларов. Я готов был заплатить любую сумму, лишь бы получить паспорт.

– Мистер Познер, – сказал Чехов, – вас будут ждать ровно в три часа в зале номер два. Я вышел на улицу, съел хот-дог «со всеми причиндалами» – так говорят, когда на сосиску накладывают все специи и все соусы плюс кетчуп и горчицу. Запил эту гадость бутылкой кока-колы, и без пяти три пришел в зал номер два. Ровно в три раздался голос:

– Мистер Валдимир Познер! – Именно так, Валдимир, а не Владимир.

Я подошел к окошку. Довольно мрачная черная женщина протянула мне паспорт и сказала:

– Проверьте, все ли правильно.

В паспорте значилось «Владимир», а не «Валдимир». Все было правильно.

– Распишитесь в получении.

Я расписался. Время было пять минут четвертого. Меньше чем за один рабочий день я получил новый паспорт. Признаться, я был потрясен.

Я отправился в другой зал, подошел к окошку, за которым сидел Чехов, и сказал: – Сэр, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражен.

Чехов посмотрел на меня и совершенно серьезно, я даже сказал бы строго, ответил:

– Сэр, вы за это платите налоги.

* * *

Несмотря на то, что я осознавал себя французом, несмотря на прохладное отношение к Америке отца, я-то Америку любил. Я обожал Нью-Йорк – и продолжаю его любить. Я люблю его улицы, его запахи, его толчею. Этот город был – и в определенном смысле остается – моим городом. Тогда я не понимал, что люблю его, ведь дети редко думают о таких вещах. Но там я чувствовал себя дома.

Как любой американский мальчик того (да и настоящего) времени, я обожал бейсбол. Мои первые воспоминания об этом «всеамериканском времяпрепровождении», как его там называют, связаны с двумя бейсбольными мячами, которые были подарены моей матери игроками сборных «всех звезд» Американской и Национальной лиги во время ее работы над документальным фильмом об их ежегодной игре – в данном случае 1937 года. На одном мяче стояли автографы «всех звезд» одной лиги, на другом – подписи звезд другой. Каких там фамилий не было! И Хаббел, и Гериг, и ДиМаджио... Пусть российский читатель попробует представить себя обладателем хоккейной клюшки с автографами Боброва, Пучкова, Якушева, Харламова, Фирсова, Петрова, Александрова, братьев Майоровых, Старшинова, Третьяка, Мальцева... Сегодня в Америке эти мячи были бы оценены на вес золота.

Я играю в софтбол в составе созданной мною команды «Московские чайники». Сан-Франциско, 1990 г.

В «Сити энд Кантри» мы играли не в бейсбол, а в софтбол, это в общем одно и то же, только мяч побольше и помягче, что позволяет играть без перчатки-ловушки. Отец одного из моих соучеников, брокер с Уолл-стрит, приятельствовал с владельцем самой знаменитой из всех бейсбольных команд – «Нью-Йоркские Янки». Поэтому Бобби, его сын, знал о «Янки» все, был знаком с игроками, даже имел счастье посидеть с ними на скамейке запасных во время игр на легендарном «Янки-стадионе». Господи, да он даже здоровался за руку со знаменитым Филом Риззуто! Бобби изобрел игру – бейсбол на косточках. Каждый бросок косточек, каждая их комбинация обозначала какой-то момент бейсбольного действия. Сила изобретения заключалась в том, что для игры не требовался партнер; ты бросал кости и для одной команды, и для другой. Мы были фанатами этого дела. Каждый имел особую тетрадь, в которой расписывал все команды двух высших бейсбольных лиг, всех игроков, и мы разыгрывали свой чемпионат страны, тщательно ведя учет всем удачам и неудачам. Но, пожалуй, увлекательнее всего было создавать команды из любимых героев. Например, в одной из моих команд играли три мушкетера (д'Артаньян, понятное дело, был лучшим), Гайавата, Маугли, сэр Ланцелот, Гек Финн и Том Соьер. Кроме того, в запасе у меня имелся Джим – тем самым я ввел «черного» игрока в состав высшей лиги раньше, чем «Бруклинские Доджеры», которые первыми в истории бейсбола включили в команду Высшей (и совершенно белой) лиги великого Джеки Робинсона. Эта команда называлась «Герои». У меня был целый набор команд, но только одна из них могла конкурировать с «Героями» – «Могучие Мифы». В нее входили такие игроки, как Геркулес, Пол Баньян и Святой Георгий, но не стану больше докучать вам деталями. Я стал болельщиком «Янки» отчасти из-за Бобби, но главным образом благодаря тому, что дважды встретился с Джо ДиМаджио – первый раз у отца на работе, второй – после игры в раздевалке «Янки-стадиона».

Нынешнему американцу трудно представить себе, какой фигурой для бейсбола тридцатых – сороковых годов был «ДиМадж», как его ласково называли. Это тем более сложно понять русскому читателю, который если и имеет представление об этом человеке, то весьма смутное. Могу твердо заявить: таких игроков сегодня нет. Он был буквально живой легендой. Существовали другие замечательные игроки, но ДиМадж – особый. Он олицетворял все лучшее, что имелось в бейсболе, он был безупречным рыцарем без страха и упрека, моим

идеалом, да что там – идиолом. Он обладал необыкновенным чувством собственного достоинства, внушал уважение, в нем ощущался настоящий класс и какое-то волшебство – в общем, второго такого спортсмена не было.

По субботам и воскресеньям мы отправлялись в парк Ван Кортланд Хайтс и играли в бейсбол. Я играл довольно прилично и конечно же в центре, как ДиМаджио. Если бы не он, я болел бы за «Бруклин Доджерс». Все-таки «Янки» считались командой богатых, все ее игроки были белые, а это противоречило моим представлением о справедливости. И когда «Доджерс» включили в свой состав Джеки Робинсона, я чуть не изменил своим любимцам. Но не сделал этого, ведь у них играл Джо ДиМаджио.

Даже за пределами Америки я продолжал следить за бейсболом. Когда «Доджерс», переехав в Лос-Анджелес, покинули Бруклин, самый демократичный, колоритный и своеобразный из всех пяти административных районов Нью-Йорка, игра каким-то образом изменилась – она потеряла единственную команду, как бы олицетворявшую маленького человека, явного аутсайдера по жизни. Побеждая, «Доджерс» словно показывали тем самым язык «толстым котам», будто публично издавали громкий и неприличный звук в адрес всех толстосумов. Понятно, команда была собственностью и игрушкой какого-то владельца, он мог купить и продать любого игрока, а то и всех разом, и в этом смысле «Доджерс» ничем не отличались от любой другой профессиональной бейсбольной команды – что тогда, что сейчас. Однако было в них что-то особенное, какое-то популистское волшебство, выделявшее их и делавшее особенно любимыми среди болельщиков. С переводом команды в Лос-Анджелес волшебство исчезло, испарилось под лучами жаркого калифорнийского солнца, появились новые, все в загаре, игроки с не менее загоревшими болельщиками. Они стали командой, игравшей хорошо, подчас блестяще, но командой, которая никогда больше не выведет на поле таких, как «Герцог» Снайдер, «Карлуша» Фурилло или «Малышка» Рийс. И никогда не будет у нее таких болельщиков, какими были «Фанаты Флетбуша» (во Флетбуше, одном из районов Бруклина, находился овеванный легендами стадион «Доджерс» – «Эббетс-филд»), не имевшие равных себе ни по силе глоток, ни в синхронном реве, от которого дрожали стены близлежащих домов, ни в красноречии – когда, например, перекрывая ор стадиона, вставал флетбушский щеголь и элегантно советовал своему питчеру «воткнуть мяч этому мудиле в ухо» (в данном случае имея в виду моего кумира ДиМаджио). Исчезла та команда, и вместе с нею исчезли ее искристые игроки и безумные болельщики.

Сан-Франциско, 23.09.1990 г.

По сей день я слежу за бейсболом, читая спортивную страницу газеты International Herald Tribune. Когда бываю в Штатах, смотрю бейсбол по телевизору. Но это уже другая игра. Нынешние игроки надевают специальные перчатки, прежде чем взять в руки биты; теперь они носят одну бейсболку при игре в нападении, другую – при игре в защите. Играют они не на траве, а, прости господи, на искусственном покрытии, носящем название «астротурф». Вообще, почти не осталось стадионов с нормальным естественным газоном. Сегодня это считается чуть ли не аномалией.

Конечно, спорт прогрессирует. Нынешние команды Национальной баскетбольной ассоциации играючи расправились бы с командами тех лет. То же относится к футболу. Но не к бейсболу. Мне представляется, что когда-то эта игра требовала большего мастерства и более сильных спортсменов, чем сегодня. Скажете, во мне говорит возраст, ностальгия? Бог с вами! Я точно знаю, что моя команда звезд тех лет во главе, конечно, с Джо ДиМаджио разгромила бы любую нынешнюю в пух и прах.

* * *

На промо-туре моей книги в Денвере, штат Колорадо. 1990 г.

* * *

Когда эта книжка вышла в США, меня отправили в «бук-тур».

Автор за счет издательства посещает разные города страны, выступая по радио и телевидению, давая интервью газетам, встречаясь в книжных магазинах с потенциальными покупателями. Так я оказался в Сан-Франциско. Работа очень

напряженная, я отдыхаю в гостиничном номере, раздается телефонный звонок:

– Мистер Познер?

– Да.

И дальше меня приглашают на какой-то званый ужин, от которого я, понятно, отказываюсь за неимением времени. И тут мне говорят:

– Но как же так, мистер Познер, ведь придет Джо ДиМаджио!..

Как? Джо? Сам Джо?! Да пропади все пропадом! Даже если бы ждал меня президент США, я послал бы его подальше.

И вот я вхожу в шикарный зал, где собралось некоторое количество весьма утонченных и высокомерных представителей светской элиты, и вдруг понимаю, что никакого Джо ДиМаджио нет и в помине, что меня, говоря просто, поимели. Я лихорадочно начинаю придумывать способ сбежать и вроде даже придумал, когда открывается дверь в зал и входит... Джо. Он необыкновенно элегантен, он двигается в мою сторону грациозной походкой великого атлета и, приблизившись, протягивает руку:

– Джо ДиМаджио.

А я мычу что-то нечленораздельное, будто мне снова семь лет и я потерял дар речи.

– Я принес кое-что для вас, – говорит Джо. Он вынимает из кармана пиджака бейсбольный мяч и протягивает его мне. Я беру его и читаю надпись: «Владимиру Познеру, человеку, с которым я всегда хотел познакомиться. Джо ДиМаджио».

Дамы и господа, жизнь удалась!

На передаче Donahue Фил обсуждает мою книжку. Это в немалой степени способствовало тому, что она стала бестселлером. 1990 г.

* * *

Где бы человек ни рос, он открывает мир вокруг и внутри себя. Нет ничего более увлекательного. Но это вдвойне верно для Нью-Йорка. Я уж не говорю о том, что именно в этом городе я впервые влюбился. Мне было четырнадцать, ей хорошо за тридцать. Она была американкой ирландского происхождения, а я всегда имел слабость к ирландцам, но не спрашивайте почему – не знаю. У нее была копна волос цвета красной меди, глаза, словно сапфиры, и таинственноволнующая улыбка ирландской феи. Я считал ее самой красивой и желанной женщиной на свете (после разве что Линды Дарнелл, голливудской актрисы, лишенной всякого таланта, но одаренной такими губами и бюстом, перед которыми не смог устоять киномагнат и самолетостроитель Хоуард Хоукс – что уж оставалось мальчику, вступающему в период половозрелости). Она владела моими эротическими снами так же основательно, как Джо Луис владел титулом чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, нокаутируя всех претендентов из года в год. Но то были тайные сны, о них не знал никто. В реальной жизни я безнадежно любил Мэри, которой хватило деликатности и ума не выставить меня на всеобщее осмеяние. Она была счастлива в браке, но тем не менее приглашала меня в кино, в ресторан, к себе домой на коктейль, обращаясь со мною как со взрослым. Я был горд и находился на седьмом небе, чувствуя себя рыцарем прекрасной дамы... до того дня, когда она пригласила меня на фильм «Моя дражайшая Клементина» – отличный вестерн с Генри Фондой в главной роли и участием... Линды Дарнелл. Вот поистине конфликт интересов! Но за исключением этого единственного случая, моя первая любовь была необыкновенно счастливой, подарила мне бесценный опыт, и до сего дня, вспоминая Мэри, я испытываю сладкое волнение и благодарность.

* * *

И сегодня ничего не изменилось. Вернувшись в Нью-Йорк после тридцативосьмилетнего перерыва по приглашению Фила Донахью, я чуть ли не на второй день отправился навестить Рут Лоперт, мою крестную мать и вдову ближайшего папиного друга. Она была свидетелем моей юношеской влюбленности, так что совершенно не удивилась вопросу о Мэри. Услышав, что все у нее хорошо, я попросил Рут дать мне ее номер телефона – уж очень не терпелось увидеть ее.

– Давай я сама позвоню ей, – сказала Рут. – Зайдешь завтра, и я тебе все дам.

На следующий день Рут огорошила меня:

– Мэри запретила мне давать тебе ее телефон и попросила передать, что не будет встречаться с тобой.

Я не сразу понял, в чем дело, даже решил, что это связано с политикой. Но когда я с усмешкой заговорил об этом, Рут выразительно посмотрела на меня и сказала:

– Не будь идиотом.

И в самом деле я был идиотом. Ведь в последний раз я видел Мэри будучи подростком – я помнил молодую, обаятельную, красивую женщину, и Мэри, перешагнувшая уже семидесятилетний рубеж, хотела остаться в моей памяти только такой.

* * *

В Нью-Йорке же я получил свою первую работу – стал разносчиком газет и заодно впервые вкусил то, что принято называть капиталистической конкуренцией. Читателю следует учесть, что в Америке не принято давать детям карманные деньги за так: их нужно заработать. Мне отец платил пятьдесят центов в неделю за то, что я накрывал и убирал со стола и по субботам чистил ботинки всем членам семьи. Но я хотел большего, и для этого следовало найти работу, поскольку на любую просьбу увеличить размер моего еженедельного пособия отец отвечал:

- Деньги не растут на деревьях, их надо зарабатывать.

Вот я и нанялся к Сэму, владельцу магазинчика за углом. Приходилось вставать в полшестого утра, чтобы успеть прийти к шести. В первое мое рабочее утро Сэм показал мне весь маршрут и те дома и квартиры, у которых я должен оставлять номер той или иной газеты. На следующее утро я уже разносил газеты, но под бдительным оком Сэма, желающего убедиться, что я все правильно запомнил. С третьего дня я все должен был сделать сам: появиться у Сэма ровно в шесть, нагрузить здоровенную почтовую сумку газетами, перекинуть ее через плечо – и вперед! К семи требовалось сдать Сэму пустую сумку. Строго говоря, Сэм не нанимал меня, поскольку не платил мне ни цента.

- Запомни, Билли, – сказал он мне в самый первый день (Билл и Билли – уменьшительные формы от Вильяма, а для американского уха Виль- ям и Владимир достаточно схожи), – чтобы ты у меня не стучался к клиентам в двери и не звонил в звонки, понял? Но по праздникам – дело другое. По праздникам ты звони в звонок и барабань в дверь, пока не откроют. И тут выдавай им улыбку на миллион долларов и говори: «Доброе утро, сэр, или мэм, я ваш разносчик, поздравляю вас с праздником. Вот вам ваши газеты». Они дадут тебе на чай, и эти деньги – твои. Сколько дадут – не мое дело, понял?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ordnung – порядок (нем.).

2

Verboten – запрещенный (нем.)

3

Sitzkrieg – «сидячая» война (нем.).

4

La drôle de guerre – смешная война (фр.).

5

The phoney war – странная война (англ.).

6

Was machts du here? – Что ты тут делаешь? (нем.)

7

Nicht verstehen – Не понимаю (нем.).

8

Raus! – Пошел вон! (нем.)

9

Les boches – немцы, фрицы (фр.).

10

Когда я умру, похороните меня поглубже в конце улицы Бликер... (англ.)

11

Ти-шерт – от англ. t-shirt – футболка, тенниска.

Купить: <https://telnovel.me/ru/vladimir-pozner/proschanie-s-illyuziyami-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)